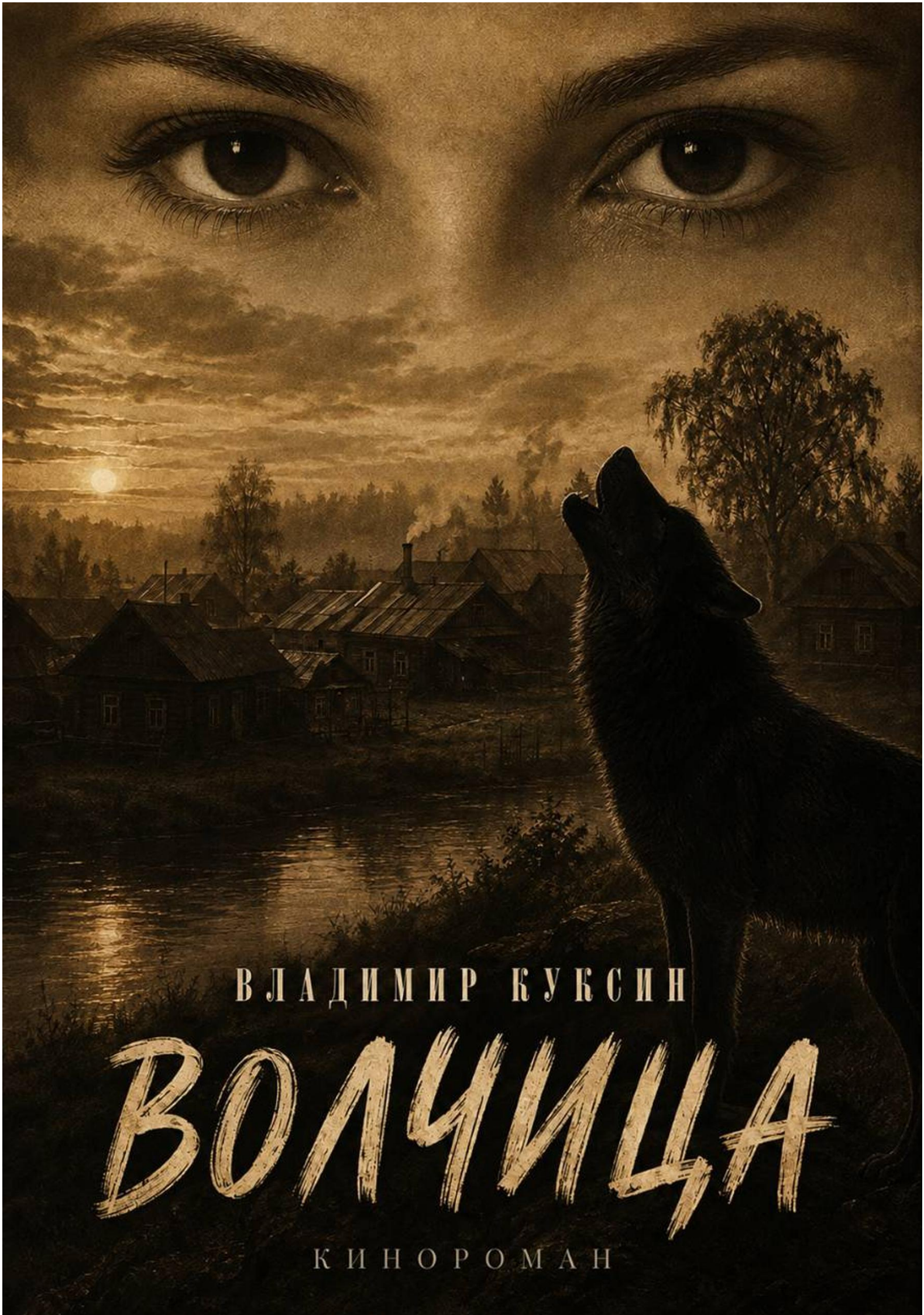

ВЛАДИМИР КУКСИН
ВОЛЧИЦА
КИНОРОМАН

Владимир Куксин

ВОЛЧИЦА кинороман

«Автор»
2026

Куксин В.

ВОЛЧИЦА кинороман / В. Куксин — «Автор», 2026

1952 год. Война закончилась семь лет назад, но в деревне, пережившей оккупацию и партизанские леса, она всё ещё живёт в памяти людей. Когда сюда привозят немецких военнопленных, прошлое вновь встаёт перед теми, кто потерял родных.Настасья привыкла рассчитывать только на себя и не прощать врагов. Однако встреча с пленным немцем заставляет её пройти по зыбкой границе между ненавистью и милосердием. Можно ли увидеть человека в бывшем враге и не предать память погибших?

© Куксин В., 2026
© Автор, 2026

Владимир Куксин
ВОЛЧИЦА кинороман

Владимир Куксин

ВОЛЧИЦА

кинороман

2026

ОТ АВТОРА

Эта история появилась задолго до того, как стала романом. Вначале был сценарий — история, которую я видел в лицах, движениях, паузах и молчании людей. Но со временем стало понятно: не всё, что происходит с человеком, можно увидеть камерой. Память, страх, старая боль, едва заметное движение души, после которого человек ещё поступает по-прежнему, но прежним уже не остаётся. Так сценарий начал превращаться в кинороман.

Действие «Волчицы» происходит в послевоенное время. Война закончилась, но для тех, кто пережил оккупацию, партизанские леса, голод и гибель родных, она не могла завершиться в один день. Можно снять гимнастёрку, спрятать оружие, снова пахать землю и растить детей. Но невозможно по приказу перестать прислушиваться к ночным звукам. Мои герои вышли из войны живыми. Это ещё не означает, что война отпустила их.

В деревню приходят немецкие пленные. Для местных жителей немец — не образ с плаката. Они помнят могилы, пожарища, пустые дома, вдов и сирот. Теперь пленные безоружны, голодны и зависят от тех, кого ещё недавно считали врагами. Вместе с ними в деревню возвращается память о войне.

Можно ли увидеть в бывшем враге живого человека и не предать погибших? Где проходит граница между милосердием и прощением? Всегда ли отказ от мести означает прощение?

Я не хотел давать готовых ответов. Меня интересовал человек, в котором одновременно живут ненависть и жалость, память и милосердие. Он может ненавидеть врага и перевязать ему рану. Помнить убитых и протянуть хлеб голодному. Не простить — и всё-таки не убить. Не отвлечённое примирение народов, а тот миг, когда привычное представление о другом человеке впервые даёт трещину.

Историческая достоверность была для меня важна. Но архив сообщает, что произошло, а литература пытается понять, что происходило в это время с человеческой душой. Я не стремился оправдать одних или осудить других от имени будущего. Люди внутри своего времени принимают решения, располагая лишь собственной памятью, совестью, страхом, любовью и болью.

Поэтому я прошу читателя не торопиться выносить приговор моим героям. Войти вместе с ними в послевоенную деревню, услышать её тишину, которая всё ещё помнит выстрелы, увидеть людей, вынужденных жить рядом после того, как совсем недавно они имели право убивать друг друга.

Возможно, тогда станет понятнее, почему иногда труднее всего не победить врага.

Труднее — снова увидеть в нём человека и при этом остаться верным собственной правде.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1952 год. Семь лет, как закончилась эта проклятая война, оставив за собой поруганные земли, разрушенные города и сёла, заводы, фабрики… Но главное, что оставила после себя война – это вопрос: «Как жить дальше?» Скольких мужиков земля наша не досчиталась? Сколько женщин оставила вдовами… Сколько семей осталось без кормильцев, без мастеровых рук…

События, которые здесь будут описаны могли случиться в любой из послевоенных деревень России или Беларуси, подобных которым насчитывались сотни, если не тысячи. Поэтому точного географического положения этой истории не будет. Деревня и деревня. Просто. Без названия.

* * *

Из ромашек на лугу
Я сплету венок,
Постою на берегу,
Чтобы ты увидеть мог.
Ты плыви, венок, плыви
Да за милым вслед,
Тихо-тихо позови,
Хоть и не услышишь, нет.

Дома стояли на берегу реки, вытянувшись в один ряд, как солдатский строй. Только не по стойке «смирно», а после команды «вольно». Несколько домов ещё держали свою «осанку», но многие совсем ослабли. Поскольку солдат, которые поддерживали их крыши, повыбивало войной. И теперь у них единственная опора — женские плечи их вдов. Между избами чернели пепелища — заросшие уже, затянутые крапивой в человеческий рост. Стояли ещё и вовсе брошенные дома с провалившимися крышами, в которых давно никто не жил и уже, наверное, не собирается. Позади деревни густыми травяными одеялами лежали поля, заросшие, брошенные: пахать их некому и нечем. А дальше начинался лес. И шёл он до самого горизонта, синий и ровный, как вода.

Река тут неширокая, но быстро пробегающая мимо домов. Не Волга — перекричать можно, а вот перейти вброд - не всякий решится. Зато от этой речной сноровки всегда был для деревни постоянный прок: на естественном пороге, укреплённом большими булыжниками по всей ширине, ниже изб, вода срывается небольшим водопадом, и ровно на этом пороге стоит мельница. Без хозяина.

Колесо у неё наружное, большое, с широкими лопастями, и вертелось оно круглый год. А сейчас только подрагивает от усталости без должного ухода. Река на пороге не замерзала, а только обрастала по краям бородой изо льда. У соседей мельницы стояли всю зиму, а тут мололи и в декабре, и в феврале. За это деревню и знали в округе. И за это её, может, до сих пор и не списали.

Стояло обычное лето.

На молочно-товарной ферме шла будничная утренняя работа. Бабы процеживали молоко, звякали подойники, несколько закрытых фляг уже стояло у дороги — ждали телегу. Пахло парным молоком, навозом и нагретой на солнце травой.

Пахло тем самым мирным духом, за который, если подумать, всё и было так дорого заплачено…

Настасья лежала на копне сена, перекатывала во рту соломинку и тихо пела. Не для слушателей — вокруг никого не было — и не для того, чтобы работа спорилась: работа уже была закончена. Знакомые слова шли сами, не мешая думать. А мысли возвращались к тому, что днём удавалось заглушить делами. Иногда песня обрывалась на полуслове: Настасья подолгу смотрела в небо, потом вспоминала другую и начинала уже с неё.

Голос у неё был такой, что бабы, бывало, останавливались, проходя мимо, чтобы послушать. Слышали в её голосе, видимо, и свою какую-то, не всем заметную, боль. Конечно, её звали на все застолья — на свадьбы, на проводы, на поминки; она знала прорву частушек и половину сочинила сама, уже не помня, какие свои, а какие чужие. С виду выходило, что она — самая весёлая баба в деревне. Может, и правда самая.

Но когда она оставалась одна, весёлые частушки почему-то не вспоминались. Одна песня незаметно сменяла другую — про воду, про венок, про то, как зовёшь, а он не слышит. Настасья не выбирала их нарочно; просто мысли её всякий раз приводили к одним и тем же словам.

Никто не видел, как она плачет по ночам. Это она умела делать тихо.

— Певунья, молоко иди цеди! — Марковна подошла, встала над копной, уперев руки в боки. — Дед Макар скоро забирать приедет!

Настасья ладонью прикрыла от солнца глаза, посмотрела с прищуром:

— А я своё уж процедила!

— Дык, другим подмогни! Разлеглася тут, бурёнка недоёная!

— Скушный ты человек, Марковна! Уж и помечтать не даёшь!

Настасья поднялась, отряхнула сено с юбки и пошла к бабам, а Марковна подобрала пустую флягу и двинулась следом, рассуждая вслух — она всегда рассуждала вслух, будто говорила сама с собой, только погромче, чтобы слышала вся ферма. У Марковны на войне остался муж, а сын был в тюрьме, и она об этом не говорила никогда. Зато говорила обо всём остальном, и очень много.

— Настасья, я вот тут смотрю на тебя, если у нас надои упадут, ты ж колхозу подмогнёшь-нет?

Настасья обернулась.

— Ты это об чем, Марковна, чо т я не пойму? Я что ль и так не помогаю?!

— Я не об том! — Марковна повернулась к бабам, и в голосе её появилось торжество. — Ну, смотри, бабы, какие у Наськи-то! Мы ж враз план перевыполним!

Она показала на себе, обведя ладонями в воздухе два больших арбуза.

— Не возражаш, если подергаем тя в случае чего… за дойки твои?

Бабы захохотали. Настасья не смутилась ни на волос — она поправила грудь и объяснила достойно, как объясняют детям очевидное:

— Энти сокровища токма для мужика ухватистого! Так шо колхоз как-нито перебьётся!

— Ой, никак для Деда Макара бережёшь!? — крикнула Варвара.

Настасья достойно и невозмутимо посмотрела на Варвару.

— От мово жару Дед Макар обуглится, а то и сгорит вовсе!

Бабы снова захохотали.

— Точно! Огонь-девка! — Бабка Марфа даже руками всплеснула. — Тебя зимой вместо печи можно!

— А если бы кто да на энтой печи меня ешшо и потискал бы, как следоват, то и впрямь, зимой топить не надо!

Бабы смеялись, и Настасья смеялась вместе с ними, и никому в голову не приходило, что это можно понимать всерьёз. Такие разговоры велись тут каждый день и были не про мужиков, а вместо мужиков. Мужиков в деревне не было. Были старики, были подростки, был предсе-

датель — без руки и без ноги, — и было двенадцать вдовьих лет, за которые бабы научились смеяться так, как раньше умели только плакать.

Варвара обняла Настасью и что-то зашептала ей на ухо, и обе долго смеялись, и Настасья, смеясь, смотрела поверх её плеча на дорогу.

Она сама не знала, зачем смотрит на дорогу. Смотрела уже так, невольно, двенадцатый год.

* * *

Подъехал на бричке Председатель — соскочил на своей одной ноге ловко, привычно — и пошёл к бабам. В военном госпитале он лишился ноги и руки – обе слева, но уже давно обходился как-то, что никто и не замечал у него таких неудобств. По лицу его было видно, что везёт он новость, которую берёг давно до поры.

— Ну всё, бабоньки! Всё! Будет нам пополнение! Переселенцы согласны к нам приехать! Сестра отписала…

— Энто те староверы что ли? — спросила Бабка Марфа.

Председатель от своей новости торжествовал. Теперь, он был убеждён, что колхоз не погибнет.

— Белорусы. Всей общиной приедут. Навовсе!!! Жить!

Настасья пробралась поближе.

— Ну-к, ну-к! Каки-таки староверы? Сколько? Мужички там есть у них, которы ничо?

— Очередь займи сперва! — шутя отрезала Марковна. — Сначала, которые вдовые!

— Не, ну видали, а? А я?! Что ли не вдовая? Двенадцать годов разменяла!

— Всё одно! Старшим — уступите место!!!

— Да за ради Бога! Только самы-самы — как раньше в продмаге — из-под прилавка, так и знай!

Бабы хохотали, а председатель, зажав папиросу в зубах, ловко прикурил одной рукой.

— Да будет вам! Дурёхи!

Подъехал на телеге Дед Макар, остановился, подошёл, тихонько спросил, что тут да как. И тогда Бабка Марфа, глядевшая на дорогу из-под ладони, сказала:

— Ой, никак идут! Гляньте-ка!

* * *

По дороге с пригорка шли люди.

Их было не разобрать — пыль поднималась до пояса и шла вместе с ними, и в этой пыли колонна казалась больше, чем была. Шли не в ногу, вразнобой, но плотно, как ходят те, кому долго идти.

— И правда… Толпа целая! Только не видать! — сказала Марковна.

И тут случилось то, о чём потом в деревне не вспоминали, потому что стыдно.

Бабы стали прихорашиваться.

Они делали это торопливо и почти незаметно — одна поправила платок, другая пригладила волосы ладонью, смочив её водой из ведра, третья одёрнула кофту. Никто не сказал ни слова, но каждая знала, что делают все остальные, и оттого движения выходили быстрые и невиноватые.

— Председатель, хош предупредил бы! Я бы платок другой из сундука вынула, да рубаху! — сказала Настасья.

Марковна прибрала волосы в гребень, повязала платок заново.

— Ты и так глазищами своими кого хош затмишь!

— Будто на глазищи кто из мужиков смотрит! Перво-наперво — вот! — Настасья демонстративно выпятила грудь и погладила её.

— А что уж, и коса ни к чему? — Варвара перекинула косу на плечо.

— К чему, к чему! Вот провинишься — муж тебя за неё и оттаскает!

— Муж… Где бы его ещё взять…

Бабка Марфа с Дедом Макаром с трудом подняли флягу на телегу и уселись рядом.

— Не переживай! Ты девка молодая — кого из староверов этих и охомутаешь!

— Во-во! А потом поклоны будешь бить — всю башку отшибёшь! — Настасья принесла от колодца ведро воды и поставила на землю.

Все смеялись, подходили к ведру — кто попить, кто умыться; бабы подносили оставшиеся фляги, поднимали их на телегу и всё это время не отрывали глаз от дороги.

Дорога практически была пустая двенадцать лет. По ней уходили — и не возвращались; по ней приходили похоронки; по ней однажды прошли немцы, а потом прошли наши, и обе стороны взяли всё, что было. И вот теперь по ней шли люди — жить.

* * *

Пыль осела метров за двести.

Первой перестала улыбаться Марковна.

Это были не староверы.

Их было человек пятнадцать. Измождённые, серые от пыли, они шли, глядя в землю, и одеты были кто во что: кто в потрёпанном мундире без знаков различия, кто наполовину в гражданском, а кто в чужих сапогах на босу ногу. Пилотки и фуражки были не у всех, и оттого колонна казалась не строем, а толпой погорельцев-беженцев.

Сопровождал их один-единственный конвойный – старшина, скорей всего, молдаванин, с усами и густыми бровями. Даже издалека было видно, что красавец, хоть и пыльный, да усталый. Он поднял руку, остановил колонну у колодца и объявил привал.

Люди бросились к воде, толкаясь и тут же выстраиваясь в очередь — торопливо и покорно, как те, которых очень долго и очень успешно учили стоять в очереди.

Старшина снял фуражку, вытер пот, поправил вещмешок, автомат и огляделся — на деревню, на баб, на председателя.

А бабы стояли молча. У коровника, с флягами, поднятыми на телегу, с только что прибранными под платки волосами — стояли и смотрели.

— Энто кто? — сказала наконец Настасья. — Председатель, ты кого привёл?

Марковна за одну минуту растеряла всё своё веселье.

— Немцы. Не видишь, что ль…

Председатель докурил папиросу, бросил её и долго, старательно топтал единственным сапогом.

— Староверам церковь нужна — без неё они никак не согласны. А строить кому? В деревне только Вы, да дед Макар!

Бабка Марфа спрыгнула с телеги и засеменила к нему.

— Энти нехристи что ли построят?

Председатель, сам уже разволновавшись от того, о чём раньше не подумал – как с бабами будет объясняться, заговорил уверенно и сурово.

— И построят! Они нам всё построят! Всё, что разрушили!

— Как же это? — Марковна смотрела на председателя, и лицо у неё было такое, будто её ударили. — У них же руки-то все… В крови мужиков наших!

— Вот и отмоют заодно!

Настасья всматривалась в толпу у колодца. Она искала в этих серых, пыльных, сгорбленных людях того самого немца — того, что жёг, стрелял, вешал, — и не находила. У колодца пили воду оборванцы какие-то.

— Доходяги-то какие… Их же брёвнами-то задавит! Ей Богу — задавит!

— Ничего! Сдюжат! — председатель сердито оглядел всех. — Они и лесопилку нам запустят, и старую делянку всю уработают!

— Лесопилку… — Бабка Марфа возвращалась к телеге, и голос у неё дрожал. — Вилами им в бок!!!

— Где я тебе других-то возьму?! Этих вон — и то! На год только дали!!!

— Это цельный год их тут терпеть?! — ахнула Марковна.

— Вы, вот что, бабы! Языки свои прикусите! Доски нам нужны? Нужны! Кругляк нужен…

Настасья туго, зло завязала платок.

— Вот так обрадовал ты нас…

— Ничо. Пока всё не отстроят, что порушили — не дадим им спуску!

Он говорил это, а сам смотрел мимо, на колонну, и лицо у него было каменное. Председатель знал только одно: что доски нужны, а брёвна сами себя не привезут; что план по молоку и по зерну с деревни спросят так же, как спрашивали в войну, и что жалеть его никто не станет; и что, если церковь не построить, староверы не приедут, а без них деревня протянет ещё зим пять, а потом её спишут. Он всё это знал и всё равно чувствовал себя так, будто привёл в дом чужую заразу.

Вот и бабы – смотрели на пленных немцев с возмущением, конечно, но без паники и страха.

Подошёл конвойный — чернявый, красивый той резкой красотой, какая бывает у южан.

— Здравия желаем! Кому доложиться, кто тут за старшего?

— Да чего тут. Давай по-простому. Я — председатель.

— Старшина Легедза! Вот, значит, прибыли. Все, как один. Видали, какие они у меня? Извиняйте, других нет.

Бабка Марфа подъехала на телеге поближе.

— И ты что же, один их охраняешь?

— А куда им бежать?

— Как это куда? — Марковна даже флягу поставила. — Разбегутся душегубы и поубивают тут всех нас!

— Эти — нет. Их в конце войны всех призывали. Кто крестьянин, кто мастеровой. Не вояки они! Так…

Настасья стояла чуть в стороне и смотрела на пленных немцев.

У колодца, дожидаясь своей очереди к воде, стоял один, лет тридцати пяти — тихий, неприметный, с обгоревшим на солнце носом. Он не толкался. Он ждал.

И, дождавшись, попил и отошёл, а кружку передал следующему. Звали его Ганс.

— Пусть только попробуют! — сказала Настасья.

— Точно! Они вас пуще меня боятся! — Легедза засмеялся. — Да и не все ведь были у них — «СС»! Эти — так точно нет, доходяги… Трудовики, одним словом.

— Тощие-то все какие…

— А что им тут — курорт? Дайте мне, что ли, водицы вашей — жарко сегодня.

Настасья зачерпнула ковшом из ведра и подала.

Он взял, и они встретились глазами.

Она смотрела на него в упор, не отводя своего «волчьего» взгляда, — она вообще всегда так смотрела, и мужики от этого терялись, будто их взвесили и они не дотянули. Легедза замер с ковшом у рта.

— Долго, видать, вы с ними топали… — сказала она, глядя, как он пьёт.

— От самой усадьбы!

— У-у… Далеко! Устали, небось?

— Так, это же — по своей земле топать, не по чужой! — Он оторвался от ковша и посмотрел ей в глаза. — Тут тебе каждый колосок поклоны бьёт! Верно говорю?

Настасья одобрительно посмотрела.

Сказано было верно, и сказано было своим. Старшина был советский, в форме, с автоматом, и говорил про землю то, что и надо про неё говорить. Ему налили бы и молока, если бы попросил. К такому — милости просим.

Немцы жадно пили прямо из ведра. Некоторые разувались, расстилали портянки. Кто-то ещё пил, умывался, кто-то развалился на траве.

Ганс, держа ведро, вдруг уставился на Настасью, но его сзади грубо подтолкнул Хоффман, высокий и сильный фельдфебель.

* * *

А с колонной в деревню будто туча зашла.

Утро было то же самое, и солнце то же, и река блестела, как блестела, — а свет переменился. Бабы разошлись по дворам молча. Смеяться в этот день больше не смеялись.

Это в кино немец бывает злой, с автоматом, а на деле он оказался тощий, в чужих ботинках, и пил воду из чужого ведра, придерживая его двумя руками, чтобы не расплескать. Легче от этого не стало. Легче стало бы, если бы он был страшный: страшного ненавидеть просто, а этих приходилось ненавидеть с усилием — и деревня усилие делала, потому что не делать его было нельзя. У Бабки Марфы сын погиб. У Марковны — муж. У каждой второй избы кто-нибудь да полёг на войне, и никто не спрашивал, кто именно из этих пятнадцати его убил, потому что убил его немец, а других немцев тут не было.

«Вилами им в бок» рассеивается не за день и даже не за месяц.

И вот чего в этих взглядах не было — страха.

Бабы смотрели на пленных спокойно, как смотрит хозяйка на чужую собаку, забежавшую во двор: без испуга и без превосходства, а так — прикидывая. Вреда от этой собаки до поры особо нет, а если что – вон оно – полено, полетит в момент.

Пятнадцать доходяг на одного конвойного, но ни одна не подумала запирать на ночь двери, и никому не пришло в голову, что теперь надо бояться.

А сколько раз каждая из них представляла себе, как оно могло бы быть, — знал один Бог. Представляли, молчали и шли доить коров.

В деревне, где остались одни бабы, это выглядело беспечностью. Беспечностью оно не было.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Полуторка пришла к обеду и привезла всё лагерное хозяйство: палатку, колючую проволоку, доски, инструмент и полевую кухню на колёсах.

Легедза отвёл председателя в сторону, достал из вещмешка пачку «Казбека», угостил, закурили.

— В полуторке у нас всё — и палатка, и колючка, и кухня. Только вот кухарить некому.

— Ну, это не беда — выделим вам кухарку!

— А нельзя ту, глазастую? Которая меня водой напоила?

Председатель улыбнулся, покачал головой.

— Настасью-то? Можно. Лучше всех стряпает у нас. Красавица.

— Извиняюсь, одинокая? Нет?

— У нас тут все одинокие. А что, глянулась?

— Глазищами своими аж до нутра прожгла!

— Смотри, Настасья боевая, «палец в рот не клади»! Всего откусит!

— Во-во. Такая как раз по мне…

Легедза посмотрел на Настасью — и заметил, как на неё смотрит один из пленных. Заметил, запомнил и значения не прида

* * *

Лагерь ставили на берегу, там, где к воде спускалась тропинка, а лес подходил вплотную — так близко, что от крайних сосен до палатки было шагов двадцать.

Место выбирали вдвоём: председатель мерил его своей ковыляющей походкой, Легедза ходил кругами, приглядывался, оборачивался на лес, на реку, на дорогу — и остался доволен.

Пленные разгружали полуторку неторопливо и молча, и по тому, как они это делали, было видно, что делали они это уже много раз и в разных местах: доски складывали в штабель, инструмент — отдельно, верёвки сматывали, а не бросали.

Полевую кухню отцепили и откатили в сторону, и к ней сразу подошёл Ганс, тихий немец с обгоревшим носом.

Кухня для солдата — что для монаха алтарь. Возле котла тепло, возле котла вода и дрова, а главное — возле котла всегда сытнее, чем в двадцати шагах от него; такого места не проворонит никто и нигде. Значит, оно было за ним закреплено давно — либо старший так распорядился, либо он это место когда-то за собой отвоевал, а после уже привыкли. Никто, во всяком случае, не спорил.

Он закрепил колёса, установил на пенёк дышло, принёс из ящиков посуду, кастрюли и поварёшку и разложил всё так, будто занимался этим всю жизнь. Натаскал из лесу сушняка, распилил и сложил перед кухней ровной поленницей. Сходил с кастрюлей на реку, залил воду в котёл, заглянул в него — и пошёл за водой снова.

Палатку вытащили последней. Она была огромная, серая от пыли, и её долго разворачивали на траве, соображая, где перёд, а где зад, и снова переворачивали, и опять соображали, и наконец поволокли всем скопом на отведённое место. Внутри поднялись шесты; по углам стояли люди с растяжками, и сооружение выросло само собой, как гриб.

Двое сколачивали длинный обеденный стол, вкапывали столбики, пилили доски; над столом подняли навес; у палатки приколотили умывальники. К вечеру дымилась кухня, у входа и над столом горели керосиновые лампы, и в темноте были видны только силуэты, ходившие взад-вперёд.

На пригорке стояли бабы и смотрели вниз, на огни. Разговаривали негромко и недобро, махали руками, плевались — и потом разошлись.

* * *

Председатель отвёл Настасью в сторону.

— Настасья, дело у меня к тебе. Кухаркой к немцам пойдёшь.

— Ты долго думал-то?

— Ты мне это, не перечь! Дело серьёзное! Ты — человек сознательный! Другая — подсыплет им в кашу чего! Из ненависти или за мужа своего! А на тебя я полагаюсь! Соображаешь?

— Не, ну видали, а? Чтобы я оглоедов этих кормила!

— Ты не ерепенься тут!.. Разве не ты тут первая мужичка просила!? Ну! Чем тебе старшина не партия?

— Скажешь тоже! — Настасья усмехнулась. — Мало ли тут я чего просила! Так вот и сразу!

— Он, между прочим, сам меня попросил, чтоб ты, значит! Стало быть, глянулась!

Настасья не ответила.

Отказаться было нельзя, и она это поняла раньше, чем он договорил. Правота у председателя была та самая, от которой не отвертишься: другая и вправду могла подсыпать. Значит, повинность. Значит, ей.

Кормить их ей не хотелось. Ей от них вообще ничего не хотелось — ни говорить, ни стоять к ним спиной. «Немцы» было для неё не словом, а рефлексом, вбитым за четыре года так глубоко, что, когда они сидели у колодца и разували стёртые ноги, внутри поворачивалось знакомое и холодное, как затвор. И слова Марковны — «у них же руки-то все в крови мужиков наших» — стояли в ушах и никуда не девались.

Про старшину она думала отдельно и коротко. Хорош, ничего не скажешь. Ласков не в меру и глядит так, будто уже и посватался. Ну-ну.

А ещё она ловила себя на том, что мерит. И старшину мерила, и того, что помоложе, и всех подряд. Мерка была одна и была она давняя: и этот не Иван, и этот не Иван, и этот тоже. Про себя она всех так мерила, как-то ненарочно, и никто ни разу не подошёл.

* * *

Утром перед палаткой сушилась вымытая обувь — сапоги, ботинки; на верёвке висели портянки и рубахи.

Хоффман прошёлся вдоль, приглядываясь, потрогал одно, другое, взял сапоги и примерил подошву к своей ноге.

Подошёл Ганс и молча взялся за голенище. Хоффман не отпустил.

— Это мои сапоги, — сказал Ганс по-немецки.

— Нет. Теперь это мои сапоги!

Отто оказался рядом мгновенно — так оказываются те, кто следит за порядком постоянно, не отрываясь. Он взял Хоффмана за рукав.

— Хоффман, Вы забываетесь! Перед Вами — офицер! Отдайте сапоги!

Хоффман вырвал руку.

— Мы тут все равны!

— Ошибаетесь! Хоть мы и в плену, но продолжаем оставаться солдатами Вермахта!

— К чёрту! Мы не на плацу!!!

— Вы давали присягу, Хоффман! Соблюдайте субординацию!

— Хватит командовать, обер-штурмфюрер.

Они смотрели друг другу в глаза, и Отто молчал так долго, что стало слышно реку.

— Я не могу наказать Вас по Уставу, Хоффман… Но. Вы можете завтра просто не проснуться.

Хоффман молчал ещё дольше. Потом швырнул сапоги — не на землю, а Гансу, в руки.

* * *

Стол Настасья накрыла как положено. Не для них — просто иначе она не умела.

Постелила скатерть, свою, из дому. Поставила стопку мисок, высыпала горкой ложки, в середину поставила большое блюдо с хлебом и солонку — соль тоже была своя. Крупу, что дал старшина, она накануне перебрала на столе, ссыпав сор в ладонь, и перебрала не наскоро, а как перебирают себе.

Настасья сняла крышку с кастрюли, и оттуда повалил пар.

В лагере всё замерло.

Пятнадцать человек стояли и смотрели. И смотрели по-разному: одни на неё, другие на пар. Кто-то торопливо пригладил ладонью волосы и с досадой провёл по щетине; кто-то сорвал с верёвки просохшую рубаху и стал натягивать её на ходу; обувались, мыли руки, одёргивали на себе что было; и все оглядывались на Отто, будто ждали команды.

Настасья стояла у стола с поварёшкой в руках и смотрела на них исподлобья.

Пусть глядят. Ей от их глядения было ни холодно, ни жарко: смотрят — потому что голодные и потому что бабы давно не видели. Тихий немец с обгоревшим носом тоже смотрел, не отрываясь, и она это заметила и тут же забыла.

Ели молча и жадно. Один, помоложе, всё пытался сказать ей что-то приятное — по-своему, по-немецки, — прикладывая руку к груди и кивая на миску. Она поняла, что хвалят, и не ответила.

Настасья постучала поварёшкой, полной каши по большой кастрюле, мол: добавки кому? Махнула рукой, после чего немцы, переглядываясь, нерешительно сначала, потом – все разом бросились за добавкой.

Так это и началось — с каши.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Дорога шла вдоль большого луга и сворачивала в лес.

Там начинались старые просеки и вчерашние делянки, заросшие молодняком; кое-где ещё лежал сложенный в штабеля кругляк — высохший, посеревший за годы, никому не понадобившийся. Лес стоял ухоженный когда-то и одичавший теперь, как и всё в округе.

Председатель остановил лошадь.

— С этой стороны и начнёте. Сосны тут у нас кряжистые, корабельные. Я метить уж не стал. С моей-то культёй по лесу больно-то не набегаешься.

Легедза посмотрел на протез.

— На фронте?

— Где ж ещё? Правда, мне повоевать-то толком и не пришлось. Батарею нашу накрыли танками. Рвануло так, что пушка перевернулась. Вот лафетом меня и придавило, переломало всего… Шевельнуться не мог. Винтовка — вот, рядом, и никак до неё… А лафет у пушки тяжеленный… Эх…

Он замолчал.

Ему до сих пор снилась та воронка. Не взрыв — взрыва он не помнил вовсе, — а именно то, что было после: земля, ставшая вдруг очень близко к лицу, и небо, ушедшее куда-то вбок, и

лафет, который лежал на нём поперёк, будто нарочно, будто его так положили. Он тогда долго не понимал, почему не может встать, — а понял и стал выбираться, и от этого сделалось так больно, что он закричал. Кричать было не на кого и незачем. Винтовка валялась в трёх шагах, и три эти шага он потом проходил во сне много лет подряд: тянулся к ней, скрёб пальцами землю и не доставал, и опять тянулся, и опять.

— До сих пор чудится… — сказал он и дёрнул вожжи.

— Жарко было?

— Не то слово… Очнулся в лазарете. Кто нашёл, кто вытащил — до сих пор не знаю. Только вижу — руку и ногу оттяпали. Сказали потом, мол раздробило сильно. Так что, быстро я отвоевался. Теперь вот тут… с бабами воюю.

— Тоже не сахар!

— Не то слово! Каких на фронт — с их-то характером — немец давно бы удрапал! Ещё в начале войны!

Оба засмеялись.

— Да уж. Особенно от той, глазастой!

— От Настасьи-то? Да… — Председатель усмехнулся. — Её в детстве «волчицей» прозвали. За глаза её, да и девичья фамилия у неё в самый раз — Волкова! Так что ты подумай, как следует!

— Да что думать. Наскитался. Хватит. Пора и к берегу.

Сказано это было ровно и по-хозяйски — так говорит человек, который всё решил заранее и теперь только сообщает. Председатель покосился на него и ничего не сказал.

* * *

— А ты как с этими-то? Пацанов что ли мало немчуру-то охранять?

— Так-то оно так. Только я, вроде как, добровольно. До войны ещё отца и мать расстреляли по доносу. Я в НКВД сам и напросился. Думал: доносчика найду. Ага. Нашёл. А сам взял и не сдержался раз. Труса одного. Ну, вроде как без суда и следствия… Шлёпнул в окопе. И всех делов.

— Как же это?

— Да вот так. Его бы всё равно, конечно, потом, перед строем. За трусость… Меня тогда такое зло взяло… Так что «залётный» я.

Председатель покачал головой.

Он слушал и не мог понять, чего в этом рассказе больше — беды или похвальбы. Про отца с матерью старшина сказал быстро, как говорят о том, что давно отболело; а про окоп — с расстановкой, будто ждал, что его переспросят. А председатель не переспросил.

— Самого тогда чуть не к стенке за это. Да вот — в конвойные понизили. Вроде как — пожалели… Так что с этой, как ты говоришь, немчурой топаю. А куда и сам не знаю.

— А семья, родня какая остались, нет?

— Не-а. Один я.

Он сказал это и вдруг подобрался, перехватил вожжи, остановил лошадь и встал в бричке в полный рост.

Председатель оглянулся по сторонам.

— Ты чего?

— Тихо!

— Нет же никого! — прошептал председатель.

— Не скажи…

Легедза взял автомат, спрыгнул на землю и пошёл вдоль опушки — мягко, не глядя под ноги, слушая. Тут он был хорош. Тут ничего не приходилось изображать: в лесу он делался спокойный и точный, как хороший пёс, и было понятно, за что его, при всей его «залётности», всё-таки держат на службе.

Председатель нехотя слез с брички и пошёл следом, и на третьем шагу под его культёй сухо треснуло.

Легедза обернулся, свёл брови и показал рукой: стой.

Оба замерли.

* * *

На маленькой поляне, в расщепе старого пня, сидел волчонок.

Он застрял лапой и уже не рвался — только тихонько поскуливал, коротко, безнадёжно, как скулят, когда скулить приходится давно.

Легедза подозвал председателя рукой, кивнул на находку.

— Ну, и слух у тебя!

— Тихо! Может, мамка его рядом!

Он ещё постоял, медленно оглядываясь и слушая лес. Потом подошёл.

Волчонок поднял голову и зарычал — по-детски, тоненько, всерьёз.

— Ишь ты… — сказал Легедза.

И в голосе у него было такое, чего председатель за весь день ни разу не слышал: ни выправки, ни ухватки, ни игры. Просто человек обрадовался зверю.

* * *

Немцы ели кашу.

Ели уже без вчерашней жадности, спокойно, и кто-то даже улыбался, и один опять говорил Настасье приятное, прикладывая руку к груди. Настасья ходила вдоль стола с кастрюлей и накладывала добавки.

Подъехала бричка.

Настасья быстро поправила платок, смахнула со стола крошки, положила в две миски каши, придвинула хлеб и ложки. Это было не для старшины и не для председателя — это было для стола, потому что стол должен выглядеть как стол.

Легедза шёл от брички торжественно, неся на вытянутых руках волчонка.

Настасья улыбнулась.

— Ещё одну миску, Анастасия Антиповна! О, какой герой теперь у нас! Ставьте на довольствие нового сторожевого пса!

Он сказал это громко — так, чтобы слышали и немцы: пусть знают, что тут теперь будет собака. И тут же, спохватившись, что вышло слишком по-хозяйски, а он вроде как ухаживает, поднял волчонка повыше и заглянул ему под хвост.

— А, нет. Волчица, сука.

Настасья перестала улыбаться в одну секунду. Медленно повернулась и посмотрела исподлобья.

— Это ты чо щас сказал?

Председатель поперхнулся кашей.

— Вы это об чём, извиняюсь?

— Ну, щас вот! Сукой ты кого это назвал?

— Так это… — Легедза разом потерял всю свою уверенность. — Я думал это волчонок… Он! Ну, щенок… Как его? Самец! А он — это… Она, самка. Сука, значит. Волчица…

Он окончательно смутился, кашлянул и покраснел — красный он был весь, до ушей, и оттого стал вдруг очень молодой.

Председатель давился от смеха и не мог остановиться.

Настасья строго смотрела себе под ноги.

— Сука, значит…

— Я не в том смысле…

Она молчала долго. Потом взяла миску, посмотрела на волчонка.

— Ну, что, тёзка… На! Уплетай кашу.

Какое-то время Настасья и волчонок долго и почти в упор смотрели друг другу в глаза.

Легедза сел и молча стал есть. Председатель посмотрел на него и покачал головой.

— То не одной, а тут сразу две… волчицы… — пробормотал старшина.

Настасья держала поварёшку.

— Чего-чего?

— Я говорю: пёс у нас был. Амур. Ух и свирепый!

Он продолжал есть.

— Тоже… сука?

— Да нет… Зачем Вы?.. Он так обучен был, что ни один из пленных даже бежать не пытался. Амур как-то беглеца такого насмерть загрыз! Да… И сразу дурная слава эта разнеслась по всем этапам.

Настасья плюхнулась на лавку.

— Погоди! Как насмерть? Человека?!

— Ну да. А для него без разбору было — уж так обучили.

— Не, ну вы видали, а? У нас тут такая зверюга будет, так ещё и корми её!

— Что Вы, Анастасия Антиповна! Мы этого волчонка так воспитаем — он у нас будет лучшим сторожевым псом… Псиной. Собакой.

Он говорил это, глядя ей в глаза и улыбаясь, и был явно доволен и рассказом, и собой.

Настасья слушала и смотрела на него — а видела уже другое.

Не то было плохо, что пёс загрыз человека: пёс есть пёс, обучили — загрыз. Плохо было, что старшина рассказывал про это за столом, между двумя ложками каши, и рассказывал с удовольствием — как рассказывают про хороший инструмент. И «дурная слава разнеслась по всем этапам» — сказано было так, будто он этой славе радовался и, может быть, к ней приложил руку.

Она подумала об этом одну минуту, спокойно и без злобы, — так прикидывают, годится ли доска для стройки.

И отложила.

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ

Ганс вдруг вскочил из-за стола.

Он был весь красный, глаза круглые; он не сказал ни слова, оттолкнул лавку и побежал — тяжело, неловко, придерживая живот, — прямо в лес.

Легедза уронил ложку и схватил автомат.

— Стой!!! Куда? Стрелять буду!!!

И побежал следом.

Настасья с председателем испуганно переглянулись. Немцы поднялись из-за стола и стояли, глядя в сторону леса, и никто из них не сел и не сказал ни слова, пока те двое не скрылись за соснами.

Они знали то, чего не знала деревня: что бежать нельзя. Что человека, побежавшего от конвоя, стреляют, и никто потом не станет разбираться, куда и зачем он бежал. И сейчас, стоя над недоеденной кашей, они слушали, будет очередь или не будет.

Ганс забежал за дерево, торопливо спустил штаны и сел.

Легедза догнал его, увидел и плюнул от досады.

— Я ведь мог запросто дать очередь!!! Засранец… мать твою…

Он отошёл в сторону, огляделся по сторонам и постоял, успокаиваясь. Сказано это было в сердцах, но сказано было правду: он и вправду мог. Оставалось только удивляться, почему не дал.

Немцы, переговариваясь, сели и стали доедать.

Председатель посмотрел на Настасью.

— Ну ты чего? — сказал он шёпотом. — Совсем мужика засмущала!

— А чего он? Совсем, что ли мозгов нет?

Из лесу возвращались двое.

— А Вы говорите, Анастасия Антиповна! Вот Вам, пожалуйста! А был бы пёс?! Сейчас бы тока крикнул: фас! Немец прямо тут бы и обделался. Чего до лесу-то терпеть? — Легедза засмеялся.

Настасья стала убирать пустую посуду.

— Тут кое-кто ест ещё, между прочим!

— Ничего. Мы тут все свои. — Он оглянулся по сторонам, сел за стол и отпил из кружки.

Она складывала миски одну в другую и хмурилась.

Легедза посмотрел на неё, свёл брови, поиграл желваками.

— А вот скажите, Анастасия Антиповна: от чего это у пленного понос, а?!

— А я Вам что, доктор что ли?

— А я вот думаю, не от Ваших ли харчей?

— Чего-о? Да как только язык твой…

Она вспыхнула и оглянулась на председателя.

— Да все знают, что я готовлю лучше всех! Везде зовут помочь! Что-то ещё никто не жаловался!

— Ну я же так, как говорится, шутя…

— Не, ну вы видали, а? Шутя, он! Хороши шуточки! Я им тут и масла домашнего притащила, и крупу перебрала!

— Да ладно, Настасья, чего ты!

— А чего он?! Сам-то вот ел, ничо? Не обдристался?!

Легедза стукнул кулаком по столу, резко встал и застегнул верхние пуговицы гимнастёрки.

— А Вы, Анастасия Антиповна, тут не очень! Это ведь можно и по-другому истолковать: как умысел! За погибшего мужа! За многострадальную нашу Родину! Подсыпали чего немцу в кашу! Хоть и пленный, но ведь враг, фашист!

И вот тут стало тихо.

Пуговицы он застегнул не зря: с этими пуговицами за столом сел не гость и не ухажёр, а старшина конвойных войск при исполнении. И слово, которое он сказал, было не бранное, а бумажное: умысел. Такие слова произносили не для смеха. За такое слово, если оно ложилось на бумагу и уходило дальше, человек уезжал и не возвращался, и никакая её каша, никакие свидетели и никакое «я же, шутя» не спасали.

Председатель это понял сразу и открыл было рот.

Настасья поняла тоже — и пошла на старшину.

— Ах ты, паразит!!! Чего ты мелешь?! Председатель! Он же меня в контру записывает! Ишь, умник какой!!! Кашу он мою заподозрил! Крупа, да вода! Какая тут отрава?!

— Спокойно, спокойно… Можно же договориться…

И хлопнул её пониже спины.

Огляделся при этом победно — как оглядывается человек, который только что показал, кто здесь хозяин, и тут же, по-хозяйски, простил, — и сел за стол очень довольный.

Вот теперь Настасья поняла всё до конца.

Не про умысел он говорил и не про Родину. Он сначала припугнул, а потом протянул руку — и рука эта пошла не мириться, а щупать.

— Ах ты, зараза!!!

Она взяла обеими руками кастрюлю с остатками каши и резко опрокинул её на голову Легедзы. А сверху ещё сильно стукнула по ней кулаком, чтобы села поглубже. Или поставила окончательную печать.

Хохотали все.

Председатель оттеснял Настасью и уговаривал её, давясь от смеха. И немцы — пятнадцать человек, которых пять минут назад не отпускало, будет очередь или не будет, — хохотали громче всех, откинувшись, хлопая ладонями по столу.

Легедза стянул кастрюлю с головы и швырнул в сторону. Каша была у него на плечах, на груди, в волосах; он отряхивался, и от этого делалось только хуже, и он багровел на глазах.

— Да Вы что?! С ума что ли совсем?! Да как Вы… Да Вас за это…

Потом обернулся на немцев.

— А вы чего ржёте?! Молчать!!!

Смех оборвался сразу, будто ножом срезали.

Ганс уже давно стоял рядом.

Он держал в руках тряпицу и совал её Легедзе, и всё пытался что-то сказать, от него отмахивались, как от назойливой мухи, а он опять подступался.

В тряпице лежали ягоды.

— Я есть это, — сказал он и показал на ягоды. — Я есть фишман. Море. Фиш. Риба. Я не знать, что это нельзя. Я есть рибак.

Легедза посмотрел на ягоды. Потом на него.

— Ты что это? Волчьих ягод что ли нажрался?! Во, дурак!

И вот на этом всё и кончилось.

Никакого умысла не было и быть не могло: был голодный немец, который набрал в лесу красивых ягод и съел их, потому что не разбирался. Обвинение рассыпалось само, и рассыпал его тот, кого обвиняли.

Настасья посмотрела на него — первый раз посмотрела не мельком.

Дурак дураком. Тридцать пять лет мужику, а ягод от ягод отличить не может; побежал в лес, как мальчишка, чуть под автоматную очередь не угодил; стоит теперь, бледный, с ядовитыми ягодами в руках, и объясняется — не за себя даже, а вроде как за неё.

Ей стало немного смешно про себя и даже жалко его.

Она сама на себя за это рассердилась и отвернулась к посуде.

— Погоди-погоди! Так ты рыбак что ли?! — сказал председатель.

Ганс заулыбался, обрадовался, что его поняли.

— Я! Я есть рибак! Риба. Море. Я не знать.

— Да врёт он всё… — Легедза махнул рукой. — Не знать он… Что, мальчишка что ли сопливый?!

— А мы проверим! Рыбы у нас в реке — тьма! Сети есть, лодка имеется! А? Старшой? Пусть рыбы нам наловит?

Легедза недоверчиво посмотрел на председателя, потом на Ганса.

— Слышь, засранец? Работу тебе нашли! Смотри у меня, не поймаешь ничего — сам на корм пойдёшь! На дно отправлю! К рыбам! Понял, нет?!

— Я, я.

— Я, я. Сказал бы я тебе… Да. Лучше уж рыба! А то волчицы тут сплошные! Да волчьи ягоды!

ГЛАВА ПЯТАЯ

От лагеря к реке вела узкая тропинка.

Там, где она кончалась, стояли старые мостки, потемневшие и скользкие, а дальше вдоль берега, до самых камышей, тянулся намытый рекой песок. Эдакий природный пляж – хоть загорай, только некому и некогда.

Настасья несла на реку большую кастрюлю с грязной посудой. Легедза пробовал помочь — она не дала, и он виновато семенил сзади, покуривая.

— Вы должны понять, Анастасия Антиповна! Бдительность — прежде всего! Немчура, они хоть и доходяги все, а случись с ними чего! Кто отвечать будет? Легедза!

— Вот иди их и стереги! Чо за мной увязался?

— Я извиняюсь, компанию Вам составить! Мало ли… Вы не сердитесь на меня! Я ведь только пошутить хотел!

Настасья остановилась и повернулась к нему.

— Пошутить он хотел... Чуть в тюрьму не отправил! Компанию он составить хочет…

— Служба… Ничего не поделаешь…

Она вышла на мостки, поставила кастрюлю, стала вынимать посуду — и посмотрела на него.

Он не уходил.

Полоскать бельё, мыть посуду на мостках приходилось на четвереньках – иначе до воды не достать.

Настасья встала на колени и принялась за миски. Рубаха на ней отвисла.

Легедза смотрел не отрываясь.

Настасья выпрямилась.

— А тут тогда чо? Тоже служба? Стоит он, пялится… Не видал, как баба раскорячилась?

— Я бы может… И… Но… очень уж Вы…

— Иди, сказала! Не стыда, ни совести! Чо уставился?! Глаза твои бесстыжие!

Он отступил на несколько шагов — и задел кастрюлю.

Она стукнула о доски, соскользнула и легла на воду. Небольшие волны, накатывающие на песок, подхватили её сразу и стали постепенно относить от мостков.

— Кастрюля уплывает!!! Что встал?! Доставай теперь, слышь?! Уплывёт ведь!!!

Легедза стоял и смотрел — то на кастрюлю, то на неё.

— Не, видали, а? Стоит он!!! Доставай давай, паразит!!! Ох, ты батюшки…

Она сбежала с мостков, с силой оттолкнув его с дороги, и засеменила берегом за кастрюлей.

Смеяться тут было не над чем. Кастрюля была не своя, лагерная, а всё равно — кастрюля. Такую в пятьдесят втором году в сельпо не купишь, потому что таких там не было. В чём варить на пятнадцать человек, если эта уплывёт? Одним словом - «казённая».

Ганс стоял в лодке, широко расставив ноги.

Лодку покачивало, но якорь держал крепко. Он забрасывал сети и делал это спокойно и точно, не глядя на руки, — так поступает опытный рыбак – без азарта. Потому что этот, другой, а может, и десятый заброс сетей не обязательно принесёт добычу.

На берегу ругались. Он поднял голову и посмотрел в их сторону.

— Я же… Нечаянно… — говорил Легедза, нехотя идя по песку следом.

— В чём я готовить-то теперь буду?! Ой! Ой! Уплывёт ведь! Что стоишь, окаянный?! Плыви давай!!! Стоит он! Статуй!!!

Настасья вошла в воду — сперва приподняв подол, потом глубже, — легла на воду и поплыла.

Легедза дошёл до воды и остановился. Потом зашёл на половину сапог и встал.

— Анастасия Антиповна! Куда Вы?! Вернитесь!

Кастрюлю отнесло уже далеко.

Настасья всё же догнала её, ухватилась и потянула к себе — и та черпнула воды сразу, всем боком, и стала тяжёлой.

Отпустить кастрюлю Настасья не могла.

Юбка обмотала ноги, рубаха набухла и потянула вниз; она загребала одной рукой, а другой держала кастрюлю, и от этого её разворачивало и клонило. Она хлебнула, закашлялась, ушла под воду, вынырнула, снова закашлялась — и снова ушла.

Кастрюлю не выпускала.

Ганс нырнул с лодки, не раздеваясь.

Он вынырнул и поплыл, быстро и ровно, поднимая голову, чтобы найти её глазами, и опять уходил лицом в воду, и опять поднимал голову.

Легедза также стоял в воде и кричал:

— Греби! Греби быстрей, немчура! Утонет ведь!!! Анастасия Антиповна! Сейчас!!!

И потом ещё:

— Давай, немчура!!! Греби сильней!!! Греби!!!

Он кричал громко и распоряжался толково — как человек, привыкший, что дело делается по его команде.

Настасья ушла под воду в третий раз.

Ганс поймал её руку и положил себе на шею.

Другой рукой стал выталкивать её вверх, чтобы голова была над водой, и грёб к берегу — тяжело, боком, то и дело окунаясь сам.

Настасья вцепилась в него мёртво, кашляла ему в ухо и не отпускала кастрюлю, затем рука её ослабла.

Так они и добрались до мелководья: женщина, немец и кастрюля.

Ганс вынес её на песок, положил животом себе на колено и стучал по спине, пока из неё не пошла вода.

Потом уложил на спину, наклонился и приложил ухо к груди.

Выпрямился. Посмотрел на Легедзу.

Тот стоял и смотрел на мокрую рубаху.

Ганс распустил шнурок у ворота, развёл рубаху шире и стал делать то, чего в деревне не видели никогда: давил ей ладонями на грудь, считая про себя, потом набирал воздуху и вдувал ей в рот, зажав нос, потом опять давил.

Он делал это раз, и другой, и третий, и всё это время его колотило — и не от холода.

Мокрая рубаха лежала на ней как вторая кожа, не скрывая ничего; тёмное просвечивало сквозь мокрое полотно на расстоянии ладони от его рук, и руки эти, послушные, точные, знающие своё дело, ходили рядом и не смели уклониться ни на палец в сторону. Он давил ровно туда, куда надо было давить, и считал про себя, и не позволял себе сбиться со счёта.

А когда набирал воздух и наклонялся к её рту, выходило то, чего он не выбирал: он целовал её. Несколько раз подряд, при старшине с автоматом, при детворе на берегу, — и никто не мог сказать ему за это ни слова, потому что он спасал.

Губы у неё были холодные от речной воды.

Настасья закашлялась. Он приподнял её, и её вырвало водой.

И вот тут Легедза очнулся.

Он оттолкнул Ганса плечом, присел рядом и захлопотал — поправил ей волосы, подхватил под спину, заговорил громко и участливо, — и всё это заняло у него не больше минуты, но минуты хватило, чтобы всякий подошедший увидел: старшина спасает.

Настасья поднялась сама. Оттолкнула его руку, отряхнула юбку и пошла — шатаясь, но пошла.

Легедза стоял, как истукан, смотрел ей вслед.

Ганс подобрал кастрюлю, сполоснул её в реке и стал собирать в неё вымытую посуду, которую они с водой растеряли по всему мелководью.

Легедза догнал его, отнял кастрюлю и пошёл рядом с Настасьей.

Настасья повернулась, вырвала кастрюлю у старшины из рук и этой же кастрюлей отпихнула его от себя.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

В палатке Ганс брился.

Брился ножом, перед осколком зеркала, прикреплённым с двухярусным деревянным нарам, — медленно, старательно, натягивая щёку пальцем. За последнее время в лагере он не брился ни разу: незачем было.

Подошёл Отто и сказал вполголоса, по-немецки:

— На свидание собираешься? Продолжай прикидываться влюблённым дурачком! Это шанс. Деревня пустая. Уйти можно.

Ганс кивнул, улыбнулся и не ответил. Эта задача ему была как раз по душе.

Подошёл Хоффман — и Отто, не меняя позы, переменил голос: заговорил громко и с раздражением, как отчитывают.

— Арийцу не подобает ухаживать за славянкой.

— Что, завидно?! — Ганс улыбнулся в зеркало.

— Она — представительница низшей расы! — сказал Хоффман.

— Зато чудо, как хороша! Согласись!

Отто бросил незаметный взгляд на Хоффмана, продолжая изображать хранителя воинского устава.

— Это неслыханно! Ты — немец!

— И что с того? Отто, когда ты последний раз ухаживал за дамой? Если не считать публичных девок? Вот и я не помню! А так хочется побыть галантным, хотя шансов у меня, думаю, никаких!

— Как ты догадался? Надо же! Заметил, что соперник есть? Старшина! Да он тебя прямо здесь, в лесу расстреляет — имей в виду! А причину найти ему пара пустяков! На это они мастера!

— Как бы мне не хотелось тебе возразить, но ты абсолютно прав, Отто! Шансов у меня никаких. И всё-таки — я попробую! Вдруг мне повезёт, а?

Он улыбнулся, вытер нож, взял с ящика заранее приготовленный букетик полевых цветов и вышел.

Разговор этот вышел удобным для обоих. Отто получил подтверждение, что его человек делает то, что велено, и делает умно — прикрываясь дурацкой влюблённостью, которая никого не насторожит. А Ганс за одну минуту сказал вслух чистую правду: и что хороша, и что хочется быть галантным, и что шансов, скорее всего, никаких, — и правда эта была принята за исполнительность.

Врать удобнее всего правдой. Он это знал давно

* * *

Букетик Настасья увидела на баке кухни.

Полевые: ромашка, кашка, немного зверобоя — набрано неумело, но набрано с толком, стебель к стеблю, и снизу подрезано.

Она взяла, понюхала, оглянулась по сторонам. Никого не было. Поставила поудобнее — так, чтобы букетик стоял, а не свалился.

На жаровне разогревалось масло.

Ганс принёс несколько рыбин, уже очищенных от чешуи, положил на стол и улыбнулся. Настасья посмотрела на рыбу, потом на него и выбрала самую крупную.

— Хороший река… Много фиш! Рыба! Гросс! Большой!

— Поглядим, как ужарится! Правда, что ли рыбак? Или нарочно придумал?

Он весь сиял. Выбрит был чисто, причёсан, и всё на нём было оправлено и одёрнуто, насколько это возможно на человеке, у которого одна рубаха.

— Я есть хороший рыбак!

— Ну, и рыбачил бы! Чего с войной-то припёрся? Семья-то есть?

Ответить он не успел.

Рыба на жаровне ударила хвостом. Настасья вскрикнула, отскочила и задела полку с посудой — и всё полетело вниз: миски, ложки, кружки, — и загремело так, что в лагере обернулись.

Она посмотрела вокруг и захохотала. И он захохотал.

Они стали подбирать посуду и, ползая на четвереньках, несколько раз задели друг друга — рукой, плечом, — и оба всякий раз отдёргивались и смущались, и от этого делалось ещё смешнее. Потом подобрали последнее, поднялись — и оказались лицом к лицу.

Ганс робко произнёс:

— Я могу… надеяться на награда?

— Можешь, можешь! Сейчас вот огрею черпаком, как этого!

Оба повернулись в сторону Легедзы и засмеялись.

* * *

Легедза смотрел на них издали.

Он стоял, курил. И когда они засмеялись, повернувшись в его сторону, бросил окурок с досадой и пошёл к палатке.

Там он жестом подозвал Хоффмана.

Разговора никакого не было — да и на каком языке им было разговаривать. Легедза достал несколько пачек махорки, отдал и кивнул в сторону кухни, где стоял Ганс.

Хоффман посмотрел на махорку, потом туда, куда кивали, и одобрительно кивнул в ответ.

Всё заняло полминуты.

* * *

Легедза пришёл на кухню и сел за стол, поставив автомат рядом с собой.

Настасья демонстративно отвернулась и еле сдерживалась, чтобы не рассмеяться. Ганс чистил рыбу.

Волчица зарычала.

Она рычала негромко и лаяла коротко, и рычала не на людей.

— Э! Ты чего? Мышей что ли учуял?

— Нет тут мышей. На твою берданку он злится!

— Не берданку, а ППШ! И не может псина на хозяина злиться!

— Хозяин тот, кто кормит, а не тот, кто приказывает.

— Это — сторожевая собака! И она будет делать то, что я ей прикажу!

— Не собака это. Волк.

— Волк из миски жрать не станет! Это собака уже!

Легедза схватил автомат, сердито взял волчицу за поводок и потащил за собой.

— Ещё посмотрим! — сказал он, уходя. И дёрнул поводок: — Рядом! Рядом, я сказал!

Волчица упиралась и оглядывалась назад — на миску.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Ганс проводил Легедзу глазами, дождался, пока тот отойдёт подальше, и достал из кармана тряпицу.

— Настья! Вот!

В тряпице были грибы.

— Ну, и чего ты тут набрал, горе луковое?! Опять отравиться хочешь?

Она села на лавку и стала разбирать их у себя на коленях, откладывая в две кучки.

— Это и это есть нельзя! Фу! Ядовитые! Понимаешь-нет, немчура бестолковая? А вот этот и этот, ещё этот вот — хорошие грибы! — Она показала большой палец. — Во! Очень

вкусные! Если с картошкой нажарить — никакого мяса не надо! Только их надо на всех целую корзину, понял, немец малахольный?

И развела руками, показывая корзину — да не просто корзину, а с горкой.

Он закивал, заулыбался, схватил корзину и побежал к лесу.

— Да в сам лес-то не ходи — там не растут! — крикнула она вслед. — Только по опушкам! Да где берёзки!

Она сказала это и осеклась, потому что кричала уже не просто немцу, а вот этому, конкретному, у которого есть имя и который бежит с корзиной, как мальчишка.

Впрочем, тут же нашлось и оправдание: корзина нужна на всех, значит, дело общее, а стало быть, и кричать не грех.

У входа в палатку стоял Хоффман.

Он проводил бегущего Ганса взглядом и кивнул своим.

* * *

Грибы Ганс собирал азартно.

Опушка была хорошая, старая, светлая; берёзки стояли редко, и между ними в траве гордо торчали своими яркими головками подосиновики, белые, подберёзовики, лисички. Он приседал, срезал, оглядывался и шёл дальше, и корзина набиралась быстро, и он даже не заметил, как ушёл далеко.

Мешок на голову Гансу набросили сзади.

Били сразу и сильно, палками по ногам — умело: под колени, чтобы упал. Он упал. Дальше били лежачего, ногами и палками, молча, не говоря ни слова, потому что говорить было ни к чему, а слушать некому.

Их было трое.

Хоффман кивнул — и все трое ушли.

* * *

Настасья убирала со стола.

Складывала посуду в кастрюлю и всё оглядывалась в сторону леса, и всматривалась, и опять принималась складывать.

Ганс поднялся не сразу.

Стянул мешок, посидел на земле, потрогал голову — на пальцах была кровь. Потом стал собирать рассыпанные грибы. Кровь капала с виска на них, и он вытирал их о рубаху и складывал обратно.

Собрав всё, он заглянул в корзину и остался доволен: набралось с горкой, как она и показывала.

Он улыбнулся.

Потом увидел ещё несколько грибов в стороне, шагнул к ним и попробовал наклониться — и не смог: поморщился, присел, осторожно поставил корзину на землю. Хотел встать на четвереньки — и опять поморщился. Схватился руками за ногу и посидел так.

Пошёл он медленно, припадая, и до самого лагеря ни разу не выругался.

Человека, которого только что били втроём ногами и палками, занимало сейчас одно: успеет ли он донести корзину до того, как она хватится, и не рассыпал ли чего в траве

* * *

На поляне, за лагерем, Легедза учил своего волчонка.

— Хватай, хватай зубами! И держи, не выпускай! У тебя зубы должны быть, как тиски! За горло схватишь — не отпускай без команды! Ну!.. Хватай давай!!!

Он бил её по морде рукавицей, злил, дразнил, отдёргивал — и опять подставлял, — а она была ещё маленькая для такого и путалась, и хватала невпопад, и отскакивала.

— Я из тебя матёрого волчищу сделаю — во всей округе такого не будет!!!

Потом взял палку.

— А вот и самая первая команда. Апорт!.. Апорт — это значит «принеси»! Ну, вперёд! Вон она, я же недалеко её закинул! Что, ослепла что ли?! Апорт!!!

Маленькая волчица не смотрела на палку.

Она смотрела в лес.

Из-за деревьев на поляну вышла взрослая волчица.

Вышла медленно, встала и зарычала.

Легедза схватил автомат и замер.

— А вот и наша мамаша…

Волчонок рванулся к ней — рванулся сразу, всем телом, не рассуждая, — но Легедза наступил на поводок.

— Куда?! Стоять!!!

Волчонок бился, хрипел, выкручивался, пытался сбросить ошейник и не мог, и тянулся мордой туда, где стояла мать.

Волчица подходила ближе. Она скалилась и рычала, и рычала она не на волчонка.

— Тихо… Тихо… — сказал Легедза.

И дослал патрон.

Затвор лязгнул коротко и сухо — железо о железо. В лесу такого звука нет и быть не может: лес его не знает.

Волчонок перестал биться.

Он замер весь, разом, как замирают, когда сверху прошла тень, — и стоял, вытянувшись, не сводя глаз с человека; и пахло от человека железом и оружейным маслом, и запах этот теперь навсегда шёл вместе с тем звуком.

Мать смотрела туда же.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

На кухне Настасья перебирала крупу и не могла усидеть.

То поднималась, то опять садилась, то шла к краю навеса и всматривалась в сторону леса, прикрыв ладонью лоб. Опушка отсюда была видна вся, до самых берёзок, — и на опушке никого не было.

Подошёл председатель.

— Ну как ты тут? Утихла гроза?

Она села и снова взялась за крупу.

— Что-то неспокойно мне. Немец за грибами умчался. Побежал вприпрыжку — я думала: быстро. А что-то его всё нет и нет…

— Что тебе он сдался?! На старшину почаще смотри!

— Да ну его!

Сказано это было в сердцах и мимоходом — про старшину. А про немца она сказала до того и сказала с тревогой, и председатель этой разницы не расслышал, потому что не искал. И она не расслышала тоже.

Тут ударили выстрелы.

* * *

Короткая очередь. Эхо.

Волчица упала.

Легедза сделал шаг назад. Он был весь мокрый. Вытер лоб рукавом и тяжело выдохнул — так выдыхают, когда уже кончилось.

Волчонок наконец добежал до мёртвой мамки, ткнулся носом, обошёл кругом и заскулил, и опять ткнулся, и стал толкать её мордой в бок — настойчиво, как толкают, когда будят ото сна.

Легедза стоял, опустив автомат, и смотрел.

* * *

Настасья вскрикнула и вскочила.

Она выбралась из-за стола, задев лавку, и побежала к лесу.

— Настасья, не лезь! Сами разберутся! Куда ты?! — кричал вслед председатель.

Она не слышала.

Бежала она нехорошо — тяжело, спотыкаясь, задыхаясь на третьем десятке шагов, — и всё это время в голове у неё было одно: убили. И даже не «убили», а — «этого убили», и лицо при этом было не какое-нибудь, а совершенно определённое: круглые глаза, обгоревший нос, тряпица с ягодами в руках.

Отчёта в этом она себе не отдавала. Бежала — и всё.

* * *

Настасья нашла Ганса на опушке.

Он сидел, потом стал подниматься — и поднялся, и повернулся к ней, и попробовал улыбнуться разбитым лицом.

Настасья остановилась:

— Господи…

Он поднял корзину и показал ей.

— Вот. Много. Для всех хватит. Теперь я надеяться на твой награда?

— Вот малахольный… Господи. Кровищи-то! Где тебя так?

Она подхватила его, и они попробовали идти. Он поморщился и захромал — сильно, всей ногой.

— Я упаль!

— Ага… Упаль он… И прямо башкой вниз! Я даже знаю, кто тебе помог! Упаль… Шагай давай! А тощий-то!!! Кожа, да кости…

— Зато я обнимать самый красивый женщина!

— Иди уж… Вот чумовой…

Так они и шли к лагерю: она под ним, он на ней, корзина с грибами на её локте. Идти было далеко, а торопиться было уже некуда.

* * *

Перед работой было построение.

Немцы вставали в строй неохотно, и строй выходил неровный. Легедза стоял с бумагами и оглядывал их.

Ганс встал последним, тяжело припадая на ногу.

Легедза посмотрел на Хоффмана. Тот пожал плечами.

— Так… Наряд на кухню… У нас сегодня… — Он посмотрел сначала на Ганса, потом на Хоффмана. — Хоффман!

— Я! — Хоффман вышел из строя.

Всё было понятно всем троим и без слов. Тот, кто заказал, тот, кто исполнил, и тот, кого били, стояли друг против друга, и один из них теперь получал за работу кухню — то самое место, за которое в лагере держатся зубами.

И тогда заговорила Настасья.

— А этот калека будет брёвна таскать?! Много он у тебя наработает сегодня!?

— Анастасия Антиповна! Мы тут… сами разберёмся!

— Да ты погляди на него! Какой он тебе работник?! Лучше оставь его на кухне, а не этого… Не умеет твой верзила картошку чистить!

— Пускай старается! Учится! А Вы потом доложите!

— Да у него очисток будет больше, чем картошки! Вам же убыток!

— Ничего! Мы потерпим!

— Голодными останетесь!!!

Она стояла перед строем и торговалась за пленного немца — при всех, при старшине, при пятнадцати чужих мужиках.

И торговалась она не про картошку.

Легедза побагровел, дёрнул поводок и пошёл прочь. На третьем шаге остановился и бросил через плечо, не оборачиваясь:

— Хоффман, встать в строй. Ганс — на кухню… Остальные — напра… О!!! Шагом марш…

Строй пошёл.

Ганс стоял и смотрел на Настасью, и был он до того счастливый, что смотреть на это со стороны было даже неловко.

— Чего уставился?! Иди картошку чисти! Уставился он тут…

Он сгрёб посуду, подхватил кастрюли и заковылял к подсобке — и на ровном месте споткнулся и грохнулся вместе со всем, что нёс.

Грохот пошёл такой, что обернулся весь строй.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

На стройке немцы укладывали стены.

Председатель стоял в стороне, а рядом с ним стоял Легедза — весь в расстроенных чувствах.

— Извела проклятая… Я уж и так, и сяк… Анастасия Антиповна, Анастасия Антиповна… Со всем почтением к ней… Ноль внимания! А тут ещё немец этот! И крутится, и вертится! Сгною гада!

— Не понимаешь ты… Видит баба, что вы — соперники, ждёт, кто победит!

— Кто соперник?! Немчура соперник?! Мне?!

— А то!

— Да я его в бараний рог согну!!! Я его…

— Так ты её не завоюешь!!! У тебя автомат и власть!.. А у него ничего!

— И что тогда? И мне разоружиться?!

— Наоборот! Тут прямо в самое сердце надо! В точку!

Легедза помолчал.

— В сердце… А есть оно у неё, сердце-то? Тока глазищи одни — насквозь прожигают!

— Волчица! Одно слово. К ней особый подход нужен! Так что поженихаться просто так… не получится!

— Да и не собирался я! Я же со всей серьёзностью!!! Чтоб, значит, честь по чести! Как у людей…

— Тогда не крути и не финти!!! А иди! И сватайся!!!

— Как?

— А вот так! У вас — товар, у нас — этот… Купец…

Легедза покивал и повторил про себя, шевеля губами, чтобы не забыть.

Совет был дан от чистого сердца и был он никуда не годный — потому что председатель, как всякий человек, советующий в чужом деле, исходил из себя. Сам он посватался бы именно так: пришёл бы, сказал прямо, и дело с концом. Ему не приходило в голову, что старшина прямо не умеет — что всё, чему тот выучился за свою жизнь, годится, чтобы приказывать, стеречь и пугать, и ни на что другое не годится вовсе.

А ещё председателю очень хотелось, чтобы у него в деревне вышла свадьба.

* * *

Вечером Легедза сел за стол в самом лучшем расположении духа.

На столе была скатёрка, цветы в банке и миска с хлебом, а посередине, на большой жаровне, — картошка с грибами.

— Вот это я понимаю! Вот это ужин! — Он попробовал. — М-м-м… Анастасия Антиповна… Это же просто… М-м-м… Как дома! А пахнут-то как! Ну, хозяйка! Ну, мастерица! По этому поводу не грех и чарку, а? Не возражаете, Анастасия Антиповна?

— Мне что. На здоровье!

Он достал фляжку и налил себе стопку.

— А Вы? Не желаете? Анастасия Антиповна? А? За Ваше душевное, так сказать, расположение? За Вашу заботу…

Она мотнула головой.

— Ну ладно. Да… Надо же, столько грибов насобирать!

— Не меня благодари. Немца вон. Он грибов набрал.

Он поставил рюмку на стол.

И замолчал.

Потом стукнул по столу двумя кулаками сразу, так что подскочила посуда, и за столом всё стихло.

— Опять ты, фриц проклятый! — сказал он сквозь зубы.

Встал, посмотрел на Ганса, потом на его миску. Взял эту миску и пошёл к нему.

— Встать… — И крикнул: — Встать!!!

Ганс встал и посмотрел ему в глаза.

Легедза поиграл желваками и вывернул миску ему под ноги.

— Отравить меня решил? Грибами! При исполнении! Покушение на сотрудника…

Он бросил миску, схватил Ганса за грудки и затряс.

— Я тебя, гада… Сгною!!! Сука!!! В лагерях!!! На Колыме!!! Ты у меня…

И опять пошли те же самые слова — не бранные, а бумажные: покушение, при исполнении. Он их не подбирал; они у него лежали наготове, как патроны в подсумке, и доставались всякий раз, когда кончались обыкновенные.

Настасья смотрела на это с каким-то разочарованием. Не то, чтобы Легедза был ей симпатичен и теперь окончательно падает в её глазах. А от того, что власть раз и навсегда делает с человеком, вбивая однажды в его пустую голову инструкции или устав, делая его неисправимым.

— Остепенись!!! — закричала Настасья. — Совсем сдурел!!! Все грибы едят — ничего, чего ты тут придумал?! Человек для всех старался!!!

Легедза отпустил.

— Человек, значит. Это он, значит, человек? Да… Ну, как тут тягаться с такой заступницей? Сама Анастасия Антиповна просит! Кормилица наша, хозяюшка! Как не уступить?.. Да. Прав председатель. Прав… Пора с этим кончать. Ставить точку! И чем скорей, тем лучше… Живи пока, фриц. Живи.

И ушёл.

Ганс стоял над рассыпанной картошкой. Настасья смотрела старшине вслед и думала, что он опять грозил тюрьмой — второй раз за неделю, и опять при всех, и опять с той же лёгкостью, с какой другой человек хлопает дверью.

Что «кончать» и «ставить точку» относится вовсе не к Гансу, она не догадалась.

* * *

На стройке вбивали кованые решётки в пазы оконных проёмов.

Решётки были массивные, старой работы, откуда-то привезённые; у стены стояла большая добротная дверь — тоже не новая, но крепкая, и председатель погладил её ладонью, как гладят лошадь.

Подошла Марковна с ведром воды и кружкой, поставила ведро на скамеечку у входа. Председатель зачерпнул воды, напился.

— И как же тебе в районе разрешили церкву-то построить?

— А там и не знают...

— Ох... Обманом, значит...

Председатель закурил.

— А как было надо? Товарищ первый секретарь, благословите?

— А кто донесёт? Ох, и попадёт тебе...

— И чего они мне сделают? Вторую ногу оттяпают? Или руку?

— Да хоть бы нашу церкву-то, православну!

— И потянулись бы к нам со всей округи такие же вдовы!

— А чо тебе эти староверы-то дались?

— Мужики у них! Работящие, не пьют. Детишек в семьях много... Да и сестра у меня там нашлась.

— Вона... Но их не любят чо-то...

— Потому что в людей стрелять не могут...

— Не воевали стало быть...

— А где я тебе ещё мужиков-то найду? Тюремщиков что ли амнистированных? Или калек? Вон как я? Много я такой наработаю?

— Другие, значит, могли немца бить, а эти нет. Не могут они...

— Вырастут детишки. Забудется. В этой церкви и отмолят.

Марковна посмотрела на стройку — на доски, на решётки, на немцев, ходивших по строительным лесам.

— Недолго твоя церковь простоит.

— Ничо! Немчура старается.

— Антихристы они! Без молитвы строят! Да и ты! С обмана начал!

Она перекрестилась и пошла.

Председатель с досадой бросил окурок.

Он и сам знал, что дело начато криво. Разрешения на храм ему бы не дали никогда и ни за что: в пятьдесят втором году за такое разрешение человек лишался должности прежде, чем успевал дописать бумагу. Оставалось строить молча — под видом склада, под видом чего угодно, — и надеяться, что, пока разберутся, приедут люди, а с людьми уже и разговор другой. Он и решётки поставил для того же: пусть выглядит хозяйственной постройкой.

Что решётки на окнах и добротная дверь пригодятся совсем для иного, ему в голову не приходило.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Постучали поздно.

Легедза вошёл с мешком и большой коробкой.

— Доброго здоровьица! Извиняйте… за поздний час, так сказать. Вот… Пришёл… Анастасия Антиповна…

Он стоял и не знал, куда себя деть. Потом спохватился и стал, волнуясь, выкладывать на стол из коробки: банки, пакеты, пачки. Мешок поставил на табурет.

Настасья молча смотрела.

Он поставил на стол ещё и свою фляжку.

— Тут вот у меня… Это всё Вам. Нам… Я к Вам, Анастасия Антиповна… с самыми серьёзными намерениями…

Схватил ковш, зачерпнул воды и выпил залпом.

— Это что же, товарищ Легедза, ты ко мне свататься что ли пришёл?

— Ну… да… Как там… У вас — товар, у нас… купец… Фу… Вы не беспокойтесь, Анастасия Антиповна! Ни в чём нуждаться не будете. Я — вот. Всё в дом, всё, как говорится… Не всё немчуре этой, проклятой. Не грех и нам. Вам.

Настасья смотрела на стол.

Чай. Крупа. Сахар. Банки с тушёнкой. И всё это — не из сельпо, которого тут и не было, и не с рынка.

— Погоди! Так это что? Такие припасы! Это всё немцам что ли полагается?

— Ну да. Тут и чай вот. Крупа, сахар… Тут вот ещё…

— Им положено, а ты не давал?

— Не… Ну почему?

— По кочану! Я даже соль из дома приношу, масло, а у него всё есть?!

— А Вы, Анастасия Антиповна, зря так! Пусть тоже… И они… как говорится… хлебнут! Поголодают малость! А то, что же это, им, врагам, значит, фашистам — всё, а нам ничего что ли?

— Ясно!.. Ну-ка, забирай своё добро! Забирай-забирай! И чай свой, и сахар! Всё забирай! Считай, что отказ получил!

— Ну… Зачем же забирать… Вам же сгодится!

— У меня на ворованное аппетита нет!

И тут всё сошлось.

Настасья перебирала крупу, носила из дому соль и масло и стыдилась, что кормит пленных пустой кашей на воде. А старшина, её кормилец, значит, стоял рядом, хвалил стряпню, предлагал чарку — и всё это время держал у себя то, за что она надрывалась заменить своим.

А сегодня принёс это ей. В подарок. И назвал серьёзными намерениями.

В окно постучали.

За стеклом стоял Ганс, улыбался и махал букетиком. Легедзу он не видел: свет из окна падал ему в лицо.

Легедза выскочил на крыльцо.

И там, на крыльце, прежде чем идти к немцу, накинул на дверь навес для замка. И только после этого пошёл — замедляя шаг, держа автомат в руке.

Значит, он не потерял себя. Значит, он знал, что сейчас будет, и приготовился, чтобы ему не помешали.

На улице шёл дождь, из окна с трудом пробивался свет.

Глаза у Легедзы будто горели огнём и, если такое можно себе представить – этого света хватило бы на весь двор – настолько всё кипело у старшины в груди.

— Ну всё, гад. Терпелка у меня кончилась…

Он сильно ударил прикладом. Ганс качнулся, схватился за голову — и устоял.

В доме Настасья дёрнула дверь. Дверь не пустила.

Легедза бил и прикладом, и кулаками, куда придётся — в живот, в лицо.

Ганс не защищался.

— Ты у меня за всё получишь!.. Цветочки он приволок!.. Я на неё глаз положил! Я!!! Думаешь, на тебя позарится?!.. Кто ты есть?!

Ганс упал, и старшина стал бить лежачего кулаками в лицо.

Настасья выбежала из задних дверей и оттолкнула Легедзу.

— Ты что!!!

Он отшвырнул её и пнул лежащего.

— Не лезьте, Анастасия Антиповна! Ах ты, фашист проклятый!!! Я!.. Тебя!.. Гадину!.. Сгною!.. Это тебе за Родину! За Сталина!.. За Родину!.. За Сталина!..

Старшина выкрикивал это в такт ударам, и в такт ударам это было особенно слышно.

Настасья вцепилась и оттолкнула его обеими руками.

— Прекрати!!!

Легедза остановился. Дышал тяжело, был весь мокрый.

Ганс лежал в грязи и крови.

— Настья… — сказал он с трудом и попробовал улыбнуться. — Я тьебья… Лублу…

— Убью, сука!!! — закричал Легедза.

Настасья встала между ними.

— Уйди!!! Озверел совсем!!! Сейчас людей позову!!!

Легедза отошёл назад и раскинул руки.

— Зови!!! Всех зови!!! Пусть объяснят мне! Я сам не понимаю!!! Чего тебе надо?! Ну, гляди! Руки-ноги целы, не кривой, не косой!!! Чего тебе ещё?! На службе! Наш! Нет!!! Она немца защищает! А он кто? Враг! Фашист!!! Никто!!!

— Это ты без берданки своей никто!!!

Он замолчал.

— Ну да… Куда уж мне… Мужику-лапотнику… Красивых слов не знаю, цветочков дарить не умею… Он вон — с пустыми руками пришёл — и всё! И не надо ничо!

— Да. Пришёл. И из воды меня спас, а не ты, герой…

Он стукнул себя кулаком в грудь.

— Да если б я… Я просто плавать не умею!!!

Это была чистая правда.

Он сказал её единственный раз в жизни — и ему не поверили.

— Зато врать мастак. Да за чужим… Охочий! Не с этого начал. С обмана жизнь не построишь. Уходи.

— Да ты только скажи, как надо! Я враз поменяюсь!

— Так не бывает! Да мне и своих забот, без тебя, паразита. Уходи, слышишь!

— А немец, значит, остаётся?! Очень хорошо... Ну, что же ты людей не зовёшь? Пусть все поглядят: как советская колхозница связалась с фашистом! С врагом! С немцем!!! Может, он мужа твоего на войне убил!!!

— А это уж не твоё дело!

— Да-а?! Как раз — моё! Я вот сообщу, куда следует!!!

— Во-о-т… В этом и вся твоя суть! Иди отсюда!!! И дорогу забудь!!!

Он пошёл. Уже от калитки бросил:

— Поглядим ещё… Волчица… Будь ты проклята!!!

* * *

Она обернулась к крыльцу.

Ганс стоял, шатаясь, весь в грязи и крови.

— Господи… И откуда ты только взялся на мою голову?!

Он улыбнулся и протянул ей букетик — измятый, в крови.

— Я тьебья всу жизн искаль!

— Искаль он… Сядь на крыльцо! Воды принесу. В кровище весь, господи!

Она убежала в дом.

— Ох, беда… Искаль он…

Ганс блаженно прислонился к стене и закрыл глаза.

Она вернулась с тазом, ковшом воды и белой тряпкой.

— Настья, я хотель…

— Сиди! Хотель он…

Она смочила тряпку и стала обмывать ему голову.

— Как он тебе голову-то не пробил?! Совсем озверел! Ему бы самому по башке его дурной настучать вот так же!

— Он не виноват. Он любить тьебья…

— Любить… Всю жизнь мечтала.

Ганс не понял.

— Я не понимаю…

— И не надо. Сиди уж… Рубашка вся мокрая… Снимай, постираю!

Он продолжал смотреть на неё.

— Снимай, кому говорят!

Она сама начала стягивать мокрую рубаху через голову. Ганс поморщился.

— Больно?

Он отрицательно покачал головой, но Настасья уже всё увидела.

На груди и боках темнели огромные синяки. На спине тоже была кровь, и когда она потянула с него рубаху выше, рана открылась и начала кровоточить сквозь грязь.

— Господи… Да на тебе живого места нет! И весь грязный… Так. Сиди здесь. Сейчас баню затоплю.

Она ушла, унося таз и окровавленную тряпку. Ганс остался на крыльце один.

Букет лежал рядом на лавке. И смятые цветы уже не расправились. Но Ганс смотрел на букетик и улыбался — для него сегодня была настоящая победа!

* * *

В бане уже было жарко.

Иван построил эту баню на совесть, для себя, поэтому она быстро нагрелась. Мог ли он тогда подумать, что Настасья приведёт туда чужого мужика? Ведь она запросто могла отправить Ганса на речку: пару раз нырнул с головой — и чистый. Но ведь это именно она была причиной этих побоев…

Настасья мыла Ганса сосредоточенно и деловито, как санитар в госпитале. Поворачивала к керосиновой лампе, отводила руку, осторожно промывала ссадины, ощупывала края синяков. Где можно было, проходилась веником, где кожа была разбита — смывала кровь водой. Перед ней был не мужчина, а избитый человек, которого нужно было отмыть, осмотреть и привести в порядок. Даже когда промокшая рубаха прилипла к телу, Настасья лишь закатала мешавший рукав повыше и снова склонилась над раной.

Вылила ковш воды ему на голову, стала промывать волосы; вода стекала по лицу и спине. На боку осталась большая рана — уже не кровоточила, но была глубокой.

Настасья провела пальцем по шраму на боку — хоть и глубокому, но старому, давно затянувшемуся, — а выше, там, где грудь еще не тронул синяк, наткнулась на другое. Не на рану — на татуировку. «СС». Она была сделана не по-блатному, а тщательно, почти художественно, располагалась на левой стороне груди, ближе к середине, — а поперек нее пролегал бледный старый рубец, глубокий, будто нож когда-то вошел почти по рукоять и просто скользнул по краю рисунка, а не метил в него специально.

Ганс вздрогнул и открыл глаза.

Не от боли: если бы было больно, он бы вздрогнул раньше, при виде синяков и ссадин, которые она уже добрый час трогала без всякого стеснения. Он вздрогнул от прикосновения женщины. Сердце заколотилось так, что его хотелось прижать рукой, и он боялся дышать — не потому, что нечем было дышать, а потому, что с каждым вдохом его грудь поднималась все ближе к ее пальцам, и это было слишком.

Еще раньше, там, на реке, когда он вытаскивал ее из воды, а мокрая рубаха облепила ее, ничего не скрывая, — тогда рядом стоял старшина с автоматом, и смотреть было нельзя. Сейчас рядом никого не было — только пар, керосиновый свет и она сама, склонившаяся так близко, что он различал капли воды у нее на ключице, а мокрая ткань уже ничего не скрывала, только обрисовывала то, что должна была скрывать. Он сидел перед ней голый по пояс, в застиранных кальсонах, тощий, с ребрами, которые можно было пересчитать, — и рядом с ней, крупной, живой, теплой, чувствовал себя таким маленьким и жалким, что впору было рассмеяться. Смеяться не хотелось.

Настасья, добросовестно увлеченная делом, ничего этого не замечала — ни того, что рубаха на ней насквозь промокла и облепила фигуру, ни того, как он на нее смотрит. Она мыла раненого. Он смотрел на женщину.

Он долго сидел неподвижно, стиснув зубы. Потом его рука поднялась и легла ей на запястье. Настасья хотела по привычке отвести ее — раненые иногда цеплялись за того, кто был рядом, — но пальцы разжались и медленно скользнули вверх по ее мокрой руке. Другая рука коснулась талии. И тут в ней что-то оборвалось. Она впервые почувствовала, как близко его лицо, как горячо он дышит, как мокрая ткань холодит грудь. Только что она видела перед собой раны, кровь и синяки — а теперь увидела мужчину. И себя рядом с ним — не санитаром, не вдовой, не бабой, привыкшей всё делать в одиночку, а женщиной, к которой прикоснулись.

Она все еще держала в руке ковш. Вода перелилась через край и потекла по лавке.

Ганс уткнулся в её мокрую рубаху, начал целовать и гладить.

— Что же ты делаешь, окаянный… Что же ты… делаешь…

Она повторила это дважды, но ни разу не попыталась его оттолкнуть.

Не прошу я взять с собой,
Не посмею, не смогу.
Мне бы снова, милый мой,
В те ромашки на лугу!

Чтобы хоть ещё глоток
Той росы, хороший мой!
И завянуть, как цветок,
Сорванный да брошенный…

В баньке горело оконце. Из трубы поднимался дым.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Утром Настасья снимала с верёвки бельё и одежду Ганса.

Председатель стоял у забора и курил. На стройке ударили в рельс.

— Пора на работу…

— Не опоздаем. Не волнуйся.

Она улыбалась и продолжала снимать бельё.

Председатель посмотрел на неё, потом на дом.

— Что теперь в деревне скажут?

— Поговорят и перестанут. А мне теперь главное — здорового ребёнка родить.

Сказала спокойно, как о деле решённом.

— А вы теперь как? Как муж с женой будете или так… Иногда?

— Не знаю. За двенадцать лет я и одна привыкла… Посмотрим.

— Как же ты с немцем-то, а не со старшиной!

— Да у твоего старшины злобы на душе больше, чем у любого немца! Да и сам же он говорил — не фашисты они. Так…

Настасья сложила снятое белье, взяла ведра и коромысло.

— Конечно, время прошло, надо забывать, — сказал председатель. — Вот ты и подала пример… Может, это и правильно…

Она подошла к калитке.

— Не подавала я никакого примера. Ждать мне больше нечего. За двенадцать лет вся моя надежда испарилась. Сил больше нет. Хоть рожу, даст Бог. А бабы наши… Может, с годами и простят, но ничего они им не забудут! И никого! На душе немного полегчает, а так… нет!

— Простить — дело нелёгкое. Сама говоришь — не фашисты они. Куда им было деваться? Погнали и пошли.

Настасья вышла со двора и закрыла калитку.

— Пошли, да получили. Пусть теперь не жалуются!

* * *

У колодца судачили бабы.

— Сама же вдова, сама же мужа оплакивала вот тут, убивалась! Причитала! Самой первой почти похоронку получила… И с немцем! Тьфу! — сказала Марковна.

— Чем ей старшина-то не угодил? Всё ж-таки наш… — сказала бабка Марфа.

— Да ну… Язык не поворачивается. Наська — и потаскуха! Немецкая подстилка!

— А старшина-то к ней и так, и эдак! И чего ей? — спросила Варвара.

Бабка Марфа посмотрела на неё.

— А ты? Что глазами хлопаешь? Мужик свободный! Беги, не теряйся! Как-никак старшина! При службе!

— И то! — поддержала Марковна. — Наська его своими глазищами приворожила, чтоб ей пусто было! А ты пирожков напеки! Мужики знаешь как от хорошей еды тают? Как сахар!

— Точно! Муки надо, так я дам!

— И когда тесто месить будешь — с приговором, с приговором! Как его зовут-то? Старшину-то?

Варвара посмотрела вдоль улицы.

— Глядите. Идет. Ни стыда, ни совести.

Настасья подошла к колодцу. Бабы замолчали.

Она сняла с плеча коромысло, поставила ведра и стала набирать воду.

— Что примолкли? Завидно стало, что дите рожу? Чо молчите?

— Глаза твои бесстыжие! — сказала Марковна.

— Ладно бы со старшиной, а то — с немцем! — сказала Варвара.

Настасья поставила полное ведро на землю.

— Ничо. Стерплю. Народу поубивали. Мужиков нет. Значит, надо новых нарожать!

— Видали?

— Так что же это: теперь по-стахановски, с каждым встречным? — спросила Марковна.

— Да погодите вы! — вмешалась бабка Марфа. — И какое же ты ему отчество дашь? Кого запишешь отцом-то? Немца?

— А я ни с кем не собираюсь под венец. Сначала надо родить. А там посмотрим… И это будет только мой ребёнок! И ничей больше! Ясно?!

Настасья повесила вёдра на коромысло и ушла.

— Вот родит какого-нибудь нового Гитлера! — сказала Варвара.

— Дура! — сказала Марковна.

Бабка Марфа посмотрела вслед Настасье.

— Это как воспитаешь…

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

На стройке с утра стучали молотки, звенела пила. Ганс нёс к стене две длинные доски, когда дорогу ему преградили его собратья по лагерю. Впереди стояли Отто и Хоффман. Остальные теснились за их спинами, молчаливые, настороженные, уже всё знавшие.

Ганс бросил доски на землю и остановился.

Отто вышел вперёд.

— Ганс, Ваш поступок не имеет оправдания! Вы осквернили своей близостью со славянкой честь немецкого мундира! Вас надо судить!

Немцы обступили его. Ганс отошёл назад, к недостроенной стене, нагнулся и медленно вытащил из сапога самодельный нож-заточку. Сталь тускло блеснула на солнце. Солдаты остановились.

— И кто же судья? Кто прокурор?

— Я, как старший по званию, имею право представлять полевой трибунал! Со всеми полномочиями!

— Что ж, я готов выслушать ваши обвинения!

Отто выпрямился, будто перед ним снова был строй, а за его спиной — не пленные в застиранных рубахах, а солдаты прежней армии.

— Оберлейтенант Ганс Ланге! Вы обвиняетесь в связи с врагом, опорочившей звание офицера Вермахта! Вы запятнали честь истинного арийца! Властью, данной мне…

Ганс перебил его:

— Отто! Погоди. Много ли ты видел в своей жизни настоящего? Кроме партийных митингов, ночных маршей с факелами, войны этой? Много ли ты смотрел… да хоть на небо? Синее! Без бомбёжек и без грохота… Прислушайся! От этой тишины можно же оглохнуть! Поют птицы! Растут цветы…

На стройке и впрямь стало тихо. Никто не пилил и не стучал. Где-то за стеной кричала птица, над досками медленно плыла древесная пыль.

— К чему вся эта лирика?

— А к тому! Мы всё это растоптали своими сапогами!!! И мимо прошли, не заметили…

— Вы, Ганс, позабыли, я вижу, наше истинное предназначение?! Охотно напомню! Всем!!! Мы - солдаты фюрера!!! Мы не сдавались в плен!!! Мы… здесь не случайно.

Ганс по-прежнему держал нож, но смотрел уже не на окруживших его солдат. Взгляд его уходил поверх их голов — туда, где за стройкой начиналась деревня.

— Я виноват, признаю… Но только в том, что влюбился в женщину! Первый раз в жизни!

— Она - представительница низшей расы!

— В публичном доме ты тоже проверял расовую принадлежность?!

— Это другое дело!!!

— Ты прав. Совсем другое дело. Не дешёвая шлюха, а женщина! Настоящая, которая не на час, а на всю жизнь! Красивая, умная, сильная! Одна со всем справляется! Её мужа, может, кто-нибудь из нас и убил! А она… Да, я когда просто смотрю в её глаза - у меня уже голова кружится!

— Вот именно! Она просто Вам вскружила голову!

— Послушай, Отто! Что мы знали про этот народ? То, что нам в голову вбивали! А так ли на самом деле? Сколько лет мы здесь, столько я удивляюсь их культуре, их открытости! Мы здесь для них строим храм… Думаешь случайно? Я думаю: нет. Чтобы искупить хоть малую часть того, что мы тут натворили…

Он поднял лицо к небу.

— Бог!!! Если ты есть! Я не прошу у тебя прощения, ибо не заслуживаю! Я благодарю тебя, за то, что впервые моё сердце стало биться!!!

Потом снова посмотрел на Отто.

— А теперь ты можешь убить меня! Мне не страшно. Последнее месяцы сделали мою жизнь не напрасной…

Никто не двинулся с места. Хоффман первым опустил голову. Постоял ещё немного, развернулся и ушёл на своё рабочее место. За ним стали расходиться остальные. Кто-то поднял пилу, кто-то вернулся к брёвнам. Через минуту стройка снова наполнилась стуком.

Отто остался один перед Гансом, молча помотал головой. Полномочия полевого трибунала кончились вместе с разошедшимся строем.

Ганс спрятал нож в сапог, поднял доски и понёс их к стене.

* * *

У коровника председателя окружили бабы. Подступили тесно, будто решение уже приняли и ему оставалось только согласиться.

Впереди всех стояла Марковна.

— Ты вот что, председатель. Давай-ка немцев… расселяй по хатам.

Председатель медленно оглядел их.

— Та-ак… Хорошо денёк начинается - ничего не скажешь…

— Мы тут решили… Чтобы…

— Решили, значит. Посовещались тут они и решили… Хорошо! Ну что, встали?! Пойдём искать!

Варвара удивлённо посмотрела на председателя.

— Чего искать?

— Стыд!!! Который вы тут потеряли!!! И совесть!!! Где?! Там?! У колодца?! Или у настасьиной бани? Где?!

— Ты чего?

Председатель рванул ворот гимнастёрки. Лицо его налилось неподдельным негодованием.

— А ничего!!! Ишь, какие сознательные они! Население, решили пополнить! Только не сознательность это! А похоть!!! Похоть!!! Кровь взыграла?! Содомского греха захотелось?

Варвара вышла перед Марковной.

— Ничего такого мы и не думали…

— Вы не думали, так лукавый за вас всё придумал! Искушение это, бабоньки! Искушение! А чтобы прогнать его - работать надо в две жилы!!! Работать! Враз всё выветрится!

Марковна будто осознала всю эту нелепость, но продолжала по инерции. Она даже хотела объяснить, что никакая это не похоть. Просто мужика с его запахом, его заботой, усталостью так захотелось в доме. Но слов подходящих не нашла, боялась запутаться окончательно. И председатель был прав, но и у баб были мысли не совсем такие.

— Мы и так не сидим, сложа руки… Мочи уж нет…

Варвара попыталась оправдаться:

— А немцы-мастеровые, между прочим, ещё при царе у нас работали - и ничего!

— Грамотные больно! Грех вам, бабоньки, грех! Так и знайте!

Бабка Марфа, до этого молчавшая, выступила вперёд.

— Погоди. Их ведь суд осудил? Осудил. Было бы за что, так враз бы всех застрелили. А их оставили! Может они, и ничо, а? Не таки уж изверги?

Председатель дёрнулся, словно его ударили. Он перевёл взгляд с одной женщины на другую, и в каждой видел то, чего не хотел видеть: не забвение, не прощение — а лишь усталость жить одним только прошлым.

— Не такие, говоришь?! А какие?! Какие в печах людей жгли?! Какие танками давили, бомбами забрасывали?! Какие целыми деревнями сжигали?! Вместе с детишками!!! Не такие, скажешь?! Как раз такие!!! Мне вон каждый день снится!!!

Он ударил ладонью по протезу, будто снова ощутил тяжесть лафета, придавившего его на поле боя. Бабы молчали.

— Сам же говорил: прощать надо…

— Верно говоришь… Надо! Надо!!! А как?! Сколько лет прошло, а всё, как будто вчера…

Марковна попыталась ещё раз:

— Может, как раз и пришло время?

— Может, и пришло… Может… Не знаю я…

Председатель повернулся и пошёл прочь — тяжело, неровно, опираясь на протез. Отойдя, поднял лицо к небу.

— О, Господи!!! Вразуми их! Вразуми, дурёх этих!

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Зима пришла незаметно. Снег лёг на крыши, укрыл дорогу и недостроенные стены храма. Живот у Настасьи стал большим, и теперь каждое движение давалось ей медленнее.

Она сидела за столом, хрустела солёным огурцом и улыбалась, поглаживая живот. Рядом лежали взрослая рубашка и ножницы. Из большой рубахи Настасья выкраивала маленькую — торопилась приготовить всё необходимое до родов.

Ты плыви, венок, плыви
Да за милым вслед…
О моей простой любви
Больше не услышат, нет…

— Надо же, кроха, а как мужик настоящий - солёный огурец ему уже не нравится! Раньше нравился, только давай! Может, тебе ещё и водочки к нему налить, баловник ты эдакий? Эх-ты, эх-ты! Ты чего пинаешься? Пинается он! Не нравится, когда ругают? Вот родишься, вырастешь, будешь, как большой Иван. Сильный, умелый на все руки…

На глаза навернулись слёзы.

— Где же он свою головушку-то сложил… Похоронили его или так - со всеми вместе…

Настасья прижала к лицу большую рубашку, вдохнула знакомый, почти исчезнувший запах.

— Гляди-ка, притих, не пинается… Тоже что ли загрустил? Плохо нам, скажи, папка, без тебя. Очень плохо… Ну, ничего. У нас теперь новый Иван будет! Иван Иваныч!

В сенях хлопнула дверь. Ганс вошёл с большой охапкой дров, свалил её возле печи и снова вышел. Вернулся уже с крупной рыбиной в руках — довольный, улыбающийся.

— Настья! Я слышать нас могут отпускать домой! Не будут расстрелять!

Он снял валенки, прошёл в комнату, опустился перед Настасьей на колени и прижался к её животу. Потом поднял голову и посмотрел ей прямо в глаза.

— Ты поехать со мной? В Германия? Ко мне в дом?

Настасья поднялась, прошла на кухню мимо Ганса, взяла рыбу и осмотрела её со всех сторон. Достала у печки большое блюдо и нож, вернулась к столу и принялась разделывать.

Ганс стоял в дверях и ждал.

Настасья смотрела куда-то в окно.

— Здесь мой дом. Здесь…

* * *

На стройке было бело от снега. Легедза обрюзг, перестал бриться и теперь равнодушно бросал палку подросшему волчонку. Тот раз за разом приносил её обратно.

К нему подошла Варвара с корзинкой.

— Товарищ Легедза, а я Вам поесть принесла!

— А, ты…

— Что это Вы, небритый весь! Запустили себя совсем! Следить некому, заботиться…

— Что же ты всё ходишь и ходишь… Тебе что, немца что ли не досталось… на постой?

— Зачем Вы так? Обидно даже слышать! Вы вот сами-то почему до сих пор в лагере живёте? Один… Ни в баньке не помыться, ни еды домашней! Я вот пирожков напекла - поешьте!

— Хорошая ты девка, Варвара! Тебе бы жениха… такого же… хорошего…

— Да где ж его взять-то? Вот, если бы такой, как Вы, например, посватался…

— Посватался раз… Хватит…

— Это Вы про Настасью что ли? Так она про Вас уже и думать забыла! Тоже мне, выбрала называется! Немца! Бессовестная! То ли дело Вы! И наш, и военный! При должности! И видный такой!

— Варвара, опять ты… Говорил же тебе - сердце у меня одно. И если там уже есть кто - другому кому там уже места нет. И хватит об этом.

— Да что же это она Вас, приворожила что ли?! Одно слово - волчица! Ни себе, ни людям! Поешьте пирожков лучше! И легче станет! Домашние! С капустой!

Варвара развернула тряпицу и поставила корзинку перед Легедзой. Он взял пирожок и бросил волчонку. Тот поймал на лету и сразу проглотил. Следом полетел второй.

— Да что же это Вы?! Разве ж я для зверёнка Вашего старалась? Обижаете Вы меня, товарищ Легедза!

Она сердито забрала корзинку.

— Я думала Вас угостить! А то смотрите на меня, что волчонок Ваш! Совсем уж я Вам не по нраву?! Всё Наську что ли никак не забудете, так она вон - брюхатая, родит скоро!

Легедза вскочил.

— Я однолюб, ясно?! Если полюбил кого - всё!!! Навек!!! Понятно тебе?! Или ещё как объяснить?!

Он быстро подошёл к столбу с подвешенным рельсом и принялся бить по нему изо всей силы. Со всей деревни на работу потянулись немцы.

* * *

Ганс вышел со двора на дорогу. Следом за ним неторопливо, вразвалочку шла Настасья с пустыми вёдрами. Вдруг вёдра выпали из её рук. Она резко осела на завалинку, одной рукой вцепилась в стену, другой схватилась за живот.

Ганс испуганно обернулся, подбежал и присел рядом, поддерживая её.

— За Варварой беги… Пусть Бабку Марфу зовёт… Началось, кажись…

* * *

Дом наполнился криками Настасьи, торопливыми шагами и плеском воды. Бабка Марфа и Варвара хлопотали возле постели. Наконец раздался детский плач. Обе женщины улыбнулись.

— Ишь ты, какой бутуз!

— На тебя похож - такие же глазищи!

— Слава Богу!

Настасья с трудом улыбнулась, глядя на ребёнка, и устало опустилась на подушку.

В этот миг открылась дверь. На пороге стоял Иван.

— Ну, здравствуй, дом родной! Долго же я пёхал…

В кухню вышла Варвара. Увидела его и закричала:

— А!!!

Она рухнула на табурет.

— Мамочки… Иван…

— Не узнал… Неужто Варвара?

Варвара испуганно закивала.

— Тебя же… Ты же…

— На войне погиб? Врут! Не верь им!.. Хозяйка-то где моя?

— Так… Тут она. Сына родила вон. Ой…

— Весело…

Из комнаты вышла бабка Марфа с белыми испачканными тряпками и ушатом воды. Увидев Ивана, она застыла.

— Батюшки светы… Ваня…

Потом спохватилась.

— Иди-ка отсель! На улицу! Иди-иди… Нечего тут мужикам! Нечего! Ох ты, Господи…

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Ночью в подсобке лесопилки горела тусклая лампа. В углу грела и напевала свою радостную тягу в трубе печка-буржуйка. На столе, поверх старой газеты, стояла бутылка самогона и лежала скудная закуска. Председатель с Иваном выпили уже крепко, но хмель брал их по-разному. Председатель говорил всё больше и горячее, Иван молча смотрел на огонь в печке и отвечал нехотя, коротко.

— И всё-таки - что ж мы так-то? Не по-людски… Тебя бы надо всей деревней! Встретить, как полагается! Ведь из мужиков-то только мы с тобой и вернулись! С разницей, правда, в двенадцать лет… Ну, да ладно! Будем! С возвращением! Эх, надо было всех позвать…

Они выпили, закусили.

— Ни к чему это всё. Не герой.

— Понимаю. Ни за что семь лет огрёб, понимаю… Ты сейчас, наверное, на весь мир в обиде.

— На обиженных воду возят.

— Мы тут все тебя ещё в сорок первом оплакали… Как же там они? Написали бы, как есть - «пропал без вести», а то «погиб»! Как будто кто вас там по головам считал! Тогда ведь толпами пропадали! В окружение что ли попал?

— Не помню. Бахнуло - в ушах звон, в башке темнота. Очнулся у немцев.

— А кто и сам сдавался?

— За других говорить не буду. Люди разные. Всем жить охота.

— И как потом? В лагерь?

— По дороге сбежал.

— Да говори ты толком, что из тебя всё, как клещами тянуть приходится! От меня что ли таишься?

— Отвык. Иной раз лучше помолчать.

— Знаешь, Вань. Как бы там ни было - всё позади. Кругом люди. Свои. Родные. Не надо так. Не держи злобы. Всё равно ничего не изменишь. Очерствел - понимаю. Так оттаивай, давай! Домой вернулся.

Иван поднял на него тяжёлый взгляд.

— Два концлагеря. Три побега. Партизанил. Наши пришли - штрафбат. После войны лагеря. Наши. Вышел по амнистии. Вопросы ещё есть, начальник?

Председатель помолчал.

— Да уж. Целый роман. С продолжениями. Вернулся. И Слава Богу! Давай!

Они снова выпили и закурили.

Иван долго держал рукав у носа.

— Крепкая.

— А то! Бабка Марфа у нас по этому делу - во всей округе первый спец!

— Тяжко приходилось?

— Да как всем. Терпимо. Вот, - Председатель оглядел подсобку. - лесопилку бы наладить! Построить где, подремонтироваться, да на продажу бы досок, тёсу…

— Ну, с этим делом я на «ты». Не переживай! Приходилось. А тут у Степана всегда порядок был. Так что запустим твою пилораму. Бензину только надо будет.

— Да это я в районе выбью! Вот обрадовал ты меня, не знаю как! За это давай ещё! По маленькой!

Выпили.

— А то уж я и не знаю, за что браться! Староверов сюда жить позвал - им церковь нужна. Строить некому - немцев дали. А им пиломатериал. А тут и ты, как раз. Прямо всё и сходится.

Иван долго смотрел на огонёк папиросы.

— А немцы-то шустрые, я гляжу. Всё успевают. И работать, и отдыхать. С чужими бабами.

Председатель вздохнул. Разговор дошёл до того, ради чего они, должно быть, и сидели здесь ночью вдвоём.

— Ты Настасью не вини. Она, как на тебя похоронку получила, знаешь, как убивалась! Выла! Чёрная вся ходила. Двенадцать лет прошло! Шутка ли… Тут кто хош отчается.

— Убью.

— Кого?

— Обоих.

— Грех тебе за такие слова!!!

— А ей?!

— Бог ей судья! Думаешь, каково ей сейчас? Чуть-чуть ведь не дождалась! Слышал я: бабы сердцем чуют! Жив кто или убит. Только тоже, окаменели сердца-то у них! У наших-то баб! И слёзы у них все высохли! Всё выплакали! Думаешь ей другая семья нужна? Немец этот?! Или старшой их, конвойный? Тоже свататься хотел! Дитё! Дитё она хотела родить! Что б хоть не одной…

— Так, разве будет не блудное оно, дитё-то?

— Это одному Богу известно. А уж если сподобил родить, то и дальше управит!!!

— Да что ты всё: Бог, Бог… Где он был всё время, Бог-то твой? Сверху наблюдал?

— Не богохульствуй. Испытания нам, грешным, давал. Тяжкие. Непосильные. Только знаю я: кто их прошёл… без остатка… того он и благословит!

* * *

Утром Иван, всё ещё хмельной немного, постучал в дверь собственного дома.

За входной дверью стояла Настасья. Её трясло, но открыть она не решалась.

— Столько ждал - дождался. В собственный дом не пускают. Ладно, можно и через закрытую дверь. Привык… К закрытым-то дверям… Слышишь?

Он сел на ступени.

— Вот они ступеньки. Вот они перила. Строил для себя. А сижу тут, как чужой… Так ждал я этой минутки и сказать нечего… Я ведь всегда так и думал. Подойду к тебе, обниму, прижму… И молча стоять будем… Долго… Мы ведь друг друга без слов понимали… А мне одних глаз твоих хватало… Ты смотреть насквозь умела. И как это у тебя… Совсем забыл, как волосы твои пахнут… Так всегда хотел вспомнить твой запах… Война, собака, всегда другим воняла… А ведь и правда - сказать-то нечего. Я тебя понимаю. Ты меня понимаешь…

Иван закурил.

— Вот как бывает. Взял писарюга штабной, да и напутал. Похоронил меня где-то, крыса тыловая… И жизнь всю переломил… И написать я не мог. Ни из плена, ни из леса и ни из наших лагерей… Получается, что ты не виновата, да и себя мне, вроде, винить… тоже не за что… Что будем делать-то? Что молчишь…

В доме заплакал ребёнок. Настасья бросилась к нему. Иван качнул головой и невесело улыбнулся - понял сразу, что она под дверью стояла.

— Мне-то теперь куда…

Он посмотрел на дорогу. Мимо дома шли на работу немцы. Теперь на них и верхняя одежда появилась - у кого что. Кому старенький тулупчик достался, кому шапка. Но в основном были все в казённом - в фуфайках и шапках лагерных. Сбоку шагал Легедза в светлой бекеше, изрядно уже потускневшей, но ещё добротной, в офицерских валенках, с автоматом на плече. Иван поднялся со ступеней и направился к калитке.

— Старшой, дай-ка закурить!

Легедза остановился и пристально посмотрел на Ивана.

— Колонна, стой!

Иван подошёл ближе.

— Это, значит, строители коммунизма?

— А ты сам-то кто такой? Документы имеются?

— Не кипишуй, начальник! Местный я. Откинулся недавно!

— Справку покажи!

— Да в порядке справка, закурить лучше дай!

— Говорю: справку покажи!

Легедза направил на него автомат.

— Тихо-тихо, начальник! Тут вот, в левом кармане - доставать?

— Доставай, доставай!

— А ты не шмальнёшь часом?

Иван вынул справку и протянул Легедзе.

— На, читай! Буквы-то знаешь?

— Блатуем, значит… Ну-ну…

Легедза развернул листок.

— Липатов Иван. Это какой же Липатов?

— А вот видишь дом? Так вот я его построил!

— Муж Настасьи что ли?

— Он самый.

— А говорят: убили тебя. В сорок первом…

— Говорят: в Москве кур доят! Так папиросу-то дашь-нет?

Легедза вернул справку и достал папиросы.

— Который тут из них… в мой дом… в гости заходил?

— Вон - белобрысый! А ты чего задумал? Я за них отвечаю - имей в виду!

— Так, потолковать малость.

Иван посмотрел на Ганса. Ганс — на Ивана. Потом Иван внезапно схватил автомат Легедзы за ствол.

— Начальник, дай-ка волыну твою!

— Сдурел?!

Иван дёрнул автомат на себя и одновременно с силой ударил Легедзу головой в лоб. Тот упал, автомат остался у Ивана. Легедза тут же вскочил и вцепился в оружие.

— Ты что?! Новый срок захотел?!

— А ты это чего, начальник? Фашиста защищаешь?!

— Пленный он! Говорю тебе: мне за них башку открутят!!! А если и кого порешить вздумал, то жену свою - сучку немецкую!!! Подстилку!!!

Иван резко выкрутил ремень автомата и ударил Легедзу прикладом в челюсть. Тот отлетел в снег. Иван постоял над ним, затем бросил автомат в сугроб. На шум уже сбегались односельчане.

— А, ну, повтори, вертухай поганый, что ты сказал?!

Он рванул Легедзу за грудки и снова ударил головой. Легедза упал. Лицо его было в крови. Он схватил горсть снега, приложил к разбитому носу, отбросил окрасившийся снег и выхватил штык-нож. Иван достал нож из сапога.

Бабы запричитали, набросились на обоих и растащили их в стороны.

— Ну, урка, недорезанная! Ты у меня побежишь сейчас по этапу! Прямиком к стенке побежишь! Захват оружия! Нападение на конвой! Телесные повреждения! По полной намотаю!!!

— Чо ты гонишь, начальник? Какое нападение?! Ты чо, не выспался?!

— Давай, покуражься напоследок! Вон, у меня свидетелей сколько!!!

— Каких свидетелей, сявка ты краснопёрая?! Это чтобы в нашей деревне и друг на друга телеги катать? Спроси лучше, кто тут что видел?

— И спрошу! У каждого!!!

Бабы тут же расступились и начали расходиться.

— А ну, назад! Свидетельские показания буду снимать! Куда?! Стоять, я сказал!!!

— Не кричи! Свидетелей не будет. Можешь не стараться. А по морде получил за то, что тоже переступал порог моего дома… Да, скажи “спасибо”, что ласково ещё…

Настасья видела из окна, как Иван бил Легедзу. Она прижала ребёнка к себе и плакала. Заплакал и малыш. Настасья тут же совладала с собой, вытерла лицо, попыталась улыбнуться и стала убаюкивать сына. Уложив его в колыбель, бросилась к сундуку.

На дне нашлась икона. Настасья протёрла её ладонью, перекрестилась, поцеловала и поставила на полочку в углу. Налила в лампадку масла, зажгла фитиль, зашторила окна и опустилась перед иконой на колени.

— Матушка! Царица Небесная! Богородица! Заступница! Помоги! Согрешила я, дура глупая! Не дождалась я мужа! Немножко не дождалась, не почуяла! Отчаялась, веру потеряла! Как бес попутал! Разум затуманило! Матушка! Нет мне оправдания! Прости дуру грешную! Уж так ребёночка хотела! Когда вдовой считалась - совесть не грызла! А теперь! Когда Иван вернулся! Живой!!! Как я теперь людям в глаза смотреть буду, стерва я бесстыжая! Сучка похотливая! Прости, Заступница!

Она уже не говорила — рыдала.

Ганс вошёл тихо и остановился в дверях. Настасья торопливо вытерла слёзы и поднялась.

— Настья…

— Откуда ты свалился на мою голову…

— Настья, я должен тьебе сказать…

— Ну, что тебе-то ещё, Господи…

— Я должен поступать, как мужчина. Твой муж прийти назад. Он очень долго ждать такой момент. Я должен уходить. Семья - есть главное!

— Надо же… Благородный какой…

— Я хотеть сказать… Огромный, большой спасибо тебе… Я никогда никого не любить… Я никогда не встречать такая женщина… Я буду жить… Иметь счастье, что я жить не напрасно… Я просить простить меня… Я просить забыть…

Настасья посмотрела на него.

— Благослови тебя Господь!

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

В лагерной столовой, сколоченной из свежего горбыля, было непривычно тихо. Варвара хлопотала у кухни, немцы сидели над мисками. Ганс, весь потускневший, к еде не притрагивался и смотрел перед собой.

Только Отто ел с аппетитом.

— Я верил! Всё-таки справедливость восторжествовала!

— Ты о чём…

— О твоей связи со славянкой! Всё-таки есть высшие силы! Они не допустили этого брака!

— Мне бы сейчас пулю в лоб, а ты радуешься…

Варвара недовольно смотрела на немцев.

— Ели бы, остынет! Товарищ Легедза, ведь вкусная каша! Почему никто не ест?! Выбрасывать прикажете?

Легедза смотрел не на стол, а куда-то на дорогу.

— Аппетит не нагуляли! Вот сейчас в лесу брёвнышки потаскают - всё сметут!

Мимо лагеря проехал Иван на лошади, запряжённой в сани-волокушу для брёвен. Он посмотрел на столовую и, не останавливаясь, проехал дальше.

Легедза встал из-за стола, заправился.

— Заканчиваем приём пищи! Для получения наряда на работы строиться!

Немцы неохотно поднимались из-за стола и выходили строиться.

Старшина равнодушно стоял на улице.

— Становись! Равняйсь! Отставить… На лесозаготовку сегодня… Пойдут у нас… Все!

На лесопилке немцы по двое завозили брёвна на накат по рельсам, скатывали в штабель и закрепляли распорками. Из леса подвозили новые хлысты. Легедза стоял в стороне, курил и наблюдал.

Иван работал наверху наката: принимал брёвна, выравнивал и проверял распорки. Ганс находился внизу. Несколько раз они встретились взглядами, но оба молчали.

Двое пленных не смогли сдвинуть с места тяжёлое, мёрзлое, кряжистое бревно. Подошли еще двое. Вчетвером они наконец тронули тележки и, налегая всем телом, медленно покатили их по рельсам. Освободили захваты, но бревно не сдвинулось. Тогда все четверо стали толкать его вниз.

Бревно пошло. Ударило по распоркам, переломило их и высвободило ещё несколько хлыстов. Дерево с грохотом покатилось по накату. Ганс не успел отскочить. Брёвна накрыли его, и крик сразу оборвался.

Все замерли. Легедза только усмехнулся.

— Ну вот. Есть Бог на свете! Слышь, каторжанин?! Нету больше жёниного полюбовника!

— Ты что?!

— Не переживай! Сактируем!

Из-под брёвен донёсся едва слышный стон.

— Живой он!

Иван бросился вниз, наклонился и попытался разглядеть Ганса в щелях между брёвнами.

— А ну! Навались! Что стоите?!

Немцы не двигались. Иван ухватился за верхнее бревно и с огромным трудом отвёл его в сторону.

— Сюда все! Не сдюжу один!!!

Иван снова упёрся плечом, но сил не хватало.

Легедза равнодушно наблюдал издалека.

— Да чёрт с ним! Пусть сдохнет, гад!

Иван выпрямился и крикнул во весь голос:

— Сюда!!! Бегом!!! Что встали, фрицы недобитые?! Аллес!!! Ком цу мир!!! Шнель!!!

Немцы осторожно спустились по брёвнам и встали рядом с Иваном.

— Раз-два, взяли!!! Ещё - взяли!!!

Ещё одно бревно откатилось. Люди ухватились за самое крупное, лежавшее сверху.

— Распорки возьмите!!! Расклинивай!!! Раз-два, взяли!!! Ещё - взяли!!!

Лица покраснели от напряжения, но кряж не поддавался.

— Что стоишь?! Навались на кряж!!!

Легедза спустился и тоже упёрся в бревно. Иван продолжал командовать. Наконец кряж сдвинулся, перевалил через распорки и скатился в сторону.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.